

А. В. КУШАКОВ

ПУШКИН
И ПОЛЬША



ТУЛА
ПРИОКСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1990

- 096 **Кушаков А. В.** Пушкин и Польша. 2-е испр. и доп. изд. — Тула: Приок. кн. изд-во, 1990.— 128 с., ил.

ISBN 5—7639—0149—5

Книга написана кандидатом филологических наук, деканом по работе с иностранными учащимися Орловского ордена «Знак Почета» государственного педагогического института Анатолием Васильевичем Кушаковым, который около восьми лет проработал в Венгрии, ГДР, Польше. С 1974 года он преподает советскую литературу для польских учителей-стажеров, повышающих квалификацию в Орле.

Автор исследует сложную историю отношения Пушкина к Польше, прослеживает развитие польской темы в произведениях великого русского поэта, а также личные и творческие связи Пушкина и Мицкевича, создает представление о глубоких исторических корнях и традициях современной советско-польской дружбы.

Расчитано на широкий круг читателей.

83.3P1

К 4603020101—178 36—90
M154(03)—90

ISBN 5—7639—0149—5

© Приокское книжное
издательство, 1990.



*Старому большому другу
Виктору Максимовичу Прокуранову посвящаю.*

Автор

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о польской теме в творчестве А. С. Пушкина был и остается большим и сложным. Чем пристальнее научные интересы автора сосредоточивались на развитии польской темы в русской литературе XIX—XX веков, тем настойчивее обращался он к «началу начал» русской классической литературы — А. С. Пушкину. Автор вполне отдает себе отчет в том, что его усилия опираются на большой (хотя и противоречивый) материал, который скопила русская и польская литературоведческая мысль, уже свыше ста лет стремившаяся осмыслить отношение А. С. Пушкина к Польше и полякам.

Адам Мицкевич, оценивая великую роль А. С. Пушкина в развитии русской культуры и литературы, замечал, что если бы вовсе не существовало произведений Байрона, то и тогда «Пушкин был бы провозглашен первым поэтом своей эпохи». Несколько изменяя и переосмысливая эти слова, можно с уверенностью сказать, что если Пушкин и не написал бы ни единой строчки о Польше и поляках, то и тогда бы его роль в развитии польской темы в русской литературе была огромной. Ведь именно Пушкин ввел в русскую литературу как один из принципов эстетического национального самосознания **принцип художественного осмысления национального бытия в многочисленнейших связях и отношениях с жизнью других народов мира и России**. Начиная от темы Петра Великого и кончая темами греческой, испанской, французской революций, темами Лицея и «Памятника», Пушкин осознавал Русь, народ, призвание поэта в неисчислимых связях, исторических и культурных, с народами России, Европы, мира.

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,

Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Автор «Бориса Годунова» не мог не писать о Польше и поляках, о драматической истории отношений России и Польши, потому что никто до Пушкина не постигал так глубоко и прекрасно национальной современности и национального прошлого, в седины которого вплелись и семейные предания:

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Советское литературоведение, подводя итоги изучения творческого наследия поэта и намечая научные проблемы дальнейшего развития пушкиноведения, констатировало: «Если проблема «Пушкин и французское революционное движение», хотя и не разработанная монографически, в общих чертах поставлена верно, то иначе следует оценить состояние такого важного вопроса международной жизни того времени, как польское восстание 1830—1831 годов (толчок которому дала французская революция 1830 года...). Характеризуя позиции Пушкина по существу, большинство литературоведов, как правило, или допускают прямолинейные утверждения, что Пушкин осуждал польских революционеров, или же предпочитают уклончивые обтекаемые формулировки. Отсутствие обобщающих трудов, рассматривающих эту тему всесторонне с учетом всей суммы фактов, привело к тому, что и авторы популярных работ, касаясь ее, вносят в сознание читателей невообразимую путаницу».

Такое положение тем более огорчительно, что отношение Пушкина к польскому вопросу «представляет интерес в плане не только историко-литературном, но и политическом».

Настоятельная потребность в обобщающих исследованиях, рассматривающих польскую тему в творчестве

А. С. Пушкина с учетом более или менее полной суммы фактов, является актуальной проблемой развития современного пушкиноведения отнюдь не потому, что в прошлом было мало работ, затрагивавших названную тему. Нет! В русском и польском пушкиноведении XIX—XX веков создано огромное количество книг и статей, в которых указанная проблема занимала важное место. И все же в них изучение польской темы в пушкинском наследии чаще совершалось локально, главным образом, путем исследования отношений А. С. Пушкина и Адама Мицкевича. Польских пушкиноведов XIX—XX веков лишь иногда привлекали такие аспекты изучения пушкинского творческого наследия, как Пушкин и декабристы, Пушкин и романтизм, байронизм Пушкина, реализм Пушкина, Пушкин и Словацкий, влияние Пушкина на Сенкевича, Пушкин и русская литература и некоторые другие. Однако «магистральной линией» развития польского пушкиноведения всегда оставалась проблема Адам Мицкевич и А. С. Пушкин. Этот аспект был главнейшим в работах, пожалуй, всех наиболее осведомленных польских исследователей пушкинского наследия, начиная от статей и книг Владимира Спасовича, Юзефа Третьяка, Мариана Здзеховского, Юзефа Калленбаха, Вацлава Ледницкого, Александра Брюкнера и продолжая трудами Мариана Якубца, Леона Гомолицкого, Генрика Маркевича и других более молодых ученых.

При всей несомненной значительности исследовательской проблемы Пушкин — Мицкевич, последняя является все же «частью» более общей, более широкой и сложной задачи изучения всего развития польской темы в творчестве великого русского поэта.

Характеризуя так особенности изучения польской темы в творчестве А. С. Пушкина, сложившиеся в русском и польском пушкиноведении, мы вовсе не хотим этим сказать, что будто вообще не было попыток иначе подойти к исследованию вопроса о польской теме в пушкинском наследии.

Такие попытки были. Из них особенно частыми и не очень удачными были попытки осмыслить польскую тему в аспекте отношения А. С. Пушкина к польскому восстанию 1830—1831 годов. Явно устарели такие наиболее обстоятельные работы, посвященные названной проблеме, как исследования М. Беляева (Польское вос-

стание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово) и В. А. Францева (Пушкин и польское восстание 1830—1831. Опыт исторического комментария к стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Прага, 1929).

На материале, главным образом, отношения Пушкина к польскому восстанию 1830/31 годов польские националисты не раз утверждали, что Пушкин был заклятым врагом польского народа.

Действительно, в польском буржуазном литературоведении была довольно широко популяризирована ошибочная мысль о том, что Пушкин был врагом поляков. Еще публицист, историк и переводчик Леонард Реттель (1805—1885) не только перевел с французского языка на польский известную статью Адама Мицкевича «Пушкин и литературное движение в России», которую польский поэт написал, узнав о гибели Пушкина, и которая появилась 25 мая 1837 года во французском журнале «Глоб». Он же, Леонард Реттель, предпослал публикации этой статьи в собрании сочинений Адама Мицкевича свое «Вступительное слово переводчика».

Реттель никаких вопросов переводческой культуры не поднимал. Он, ссылаясь на личное знакомство с Адамом Мицкевичем, рассказал о пребывании польского поэта в России и отношениях последнего с Пушкиным. Не всегда удачно «развивая» и конкретизируя некоторые мнения и слова из статьи Адама Мицкевича о Пушкине, Реттель изложил свое понимание вопроса о Пушкине и польском восстании 1830—1831 годов.

Не сумев оценить общего значения Пушкина в русской литературе и противопоставив его месту Адама Мицкевича в польской литературе*, Реттель и в более частном вопросе утверждал, что отношение Пушкина к польскому восстанию 1830—1831 годов было якобы тождественным отношению Николая I**.

Подобные мысли и сомнения смущали и тревожили

* Л. Реттель полагал, что Пушкин, умасленный и очарованный царской лаской, не занял в своем народе такого положения, какое в Польше занял Мицкевич, и что Пушкин не повлиял, как Мицкевич, на преобразование литературы своей страны.

** Реттель говорил, что «Понятия его (Пушкина.— А. К.) о Польше после ноябрьского восстания были уже чисто николаевскими, которые сконцентрировали в себе понятия, какие имела еще Екатерина II». (Переведено нами.— А. К.).

не одного из польских литераторов даже тогда, когда в 1899 году довольно многочисленные круги польской интеллигенции в Петербурге и в Кракове отмечали столетнюю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина. В Петербурге торжества организованы были редакцией польской газеты «Край» во главе с издателем-редактором Эразмом Пильцем и профессором Петербургского университета Владимиром Спасовичем. В Кракове инициаторами и организаторами пушкинского юбилея были профессор Краковского университета Здзеховский, Моравский и Соколовский. Тогда и в Петербурге и в Кракове было написано и произнесено много высоких и благодарных слов в адрес великого русского поэта, друга Адама Мицкевича. В ряду многочисленных приветственных телеграмм, поступивших тогда в Петербург из различных городов и стран, были оглашены в торжественном и многолюдном собрании, например, такие «Как поляк и сын Адама Мицкевича, присоединяюсь к Вашему чествованию Пушкина. И пусть пробуждение того чувства, которое некогда соединяло обоих великих поэтов, предвестит лучшее будущее обоим народам.

Владислав Мицкевич. Паріж»*.

Элиза Ожешко из Гродно телеграфировала:

«Глубокая честь памяти Александра Пушкина, великого гения, славе своего отечества, друга Мицкевича. Пойдемте ж все по их следам и, осуществляя мечты наших великих поэтов и мыслителей, воздвигнем алтари в храме добра и общего братства».

Когда мы теперь просматриваем печатные и архивные материалы, касающиеся пушкинских торжеств, проведенных в Петербурге и в Кракове, то мы не можем не заметить, что многих поляков (даже из тех, кто принимал участие в юбилейных чествованиях) смущало не только умеренно-либеральная политическая позиция редакции газеты «Край», но и односторонне понимаемое отношение Пушкина к польскому восстанию 1830—1831 годов.

* Цитируется по польским архивным материалам, касающимся юбилея А. С. Пушкина, организованного редакцией газеты «Кгај». Народная б-ка в Варшаве. Рукопис. отд., IV, 8346. См. также: «Кгај», 1899, № 22.

Этого вопроса предпочитали вообще даже не касаться выступавшие с докладами о Пушкине: приват-доцент Петербургского университета Ян Лось (о Пушкине в польской литературе), приват-доцент того же университета Станислав Пташицкий (о трагедии «Борис Годунов») и профессор Петербургского университета Владимир Спасович (о главных чертах поэтического творчества Пушкина).

Один же из устроителей пушкинских торжеств в Кракове, профессор Мариан Эдзеховский в своем письме от 4 июня 1899 года в Петербург к Эразму Пильцу высказал прямо то, что молча смущало многих:

«Меня одно немного смущает, ...у всех у нас живо стоит перед глазами Пушкин, автор оды «Клеветникам России».

Даже такая громкая слава польской литературы как Генрик Сенкевич, эпопея которого «Огнем и мечом» несет в себе следы несомненного творческого взаимодействия с «Капитанской дочкой» и «Историей Пугачева» (казацко-крестьянский бунт-восстание; соперник примыкающий к мятежникам; схожесть линий: Гринев — Пугачев — Маша Миронова и Скшетуский — Богун — Хелена), в сущности, уклонился от активного участия в чествовании столетия со дня рождения А. С. Пушкина.

Он ограничился частным письмом, в котором лаконично выразил признательность памяти русского поэта и пожертвовал некоторую денежную сумму в пользу голодающих.

Для создателя знаменитого романа «Кукла» Болеслава Пруса (Александр Гловацкий) участие в пушкинских торжествах, устраиваемых редакцией «Края», было делом непростым, связанным с раздумьями, опасениями и плохо скрываемым нежеланием. Об этом свидетельствуют автографы двух мало известных у нас писем Болеслава Пруса к Эразму Пильцу и его же весьма сдержанная «телеграмма», вернее та приписка, которую Прус просил считать телеграммой.

В первом письме от 8 мая 1899 года Прус сообщал: «Уважаемый господин Эразм!

Видимо, я охвачен графоманией и вместо того, чтобы ограничиться телеграммой в связи с юбилеем Пушкина, я имею желание написать письмо: о потребности, важности и средствах и т. д. польско-русского сближе-

ния под девизом: «за ваше и наше благополучие», так как не хотел бы ни **бросать пыль в глаза** (Подчеркнутые слова написаны Б. Прусом по-русски. — А. К.), ни делать глупости несвоевременным откликом, ни и т. д., и т. д. Поэтому спрашиваю Вас: насколько такое письмо было бы **нужным**, или может быть, даже **необходимым** (Подчеркнуто Б. Прусом. — А. К.). Без такого условия мое письмо было бы откликом не в пору, тем, что называют «и не приколот и не прилатал». Так как я был бы рад покончить с моими политическими дебютами и припечатать их неким выяснением «общей ситуации», то сделал бы это в связи с Пушкиным (едва касаясь его имени), если бы такого рода шаг был **нужным**. (Подчеркнуто Б. Прусом. — А. К.). В противном случае я мог оказаться смешным, что не очень-то приятно. Вашей жене целую ручки, Вас обнимаю, проф. Спасовичу кланяюсь.

Друг и слуга Александр Гловацкий.

8/V.899

Згода, 3.

Варшава». (Переведено с польского автографа нами. — А. К.).

1 июня 1899 года Прус выслал Пильцу новое небольшое письмо, к которому приложил текст своей приветственной «телеграммы»:

«Уважаемый господин Эразм!

Извините, что по вопросу «письма» не сдержал слова. Такие вещи, мудрые или глупые, должны писаться с большим размахом. Между тем меня снова немного прижала невралгия и... хотя «поезд остался, но локомотив черти взяли».

Посылаю квазителеграмму почтой, и как компенсацию вношу в вашу контору 10 р. с. на голодающих.

Жене Вашей целую ручки, профессору кланяюсь, Вас обнимаю сердечно.

Друг и слуга Ал. Гловацкий.

1/VI.899. Варшава.

Новеллка уже на сковородке».

(Переведено с польского автографа нами. — А. К.).

В пушкиноведении телеграмма Болеслава Пруса, присланная в связи с празднованием юбилея Пушкина, известна в редакции, опубликованной в 22 номере газеты «Край» за 1899 год, которая в переводе звучит так:

«Честь памяти Пушкина, который вдохновенными песнями содействовал развитию своего родного языка и славы своей отчизны».

В такой же редакции она была приведена и в книге Мариана Топоровского «Пушкин в Польше».

Изучение автографа Болеслава Пруса свидетельствует о том, что в действительности приветствие, присланное им, было более сдержанным, в нем отсутствовали три последних слова. Б. Прус лишь писал: «Честь памяти Пушкина, который вдохновенными песнями содействовал развитию своего родного языка. Ал. Гловацкий»*.

Эти строки Болеслава Пруса (дополненные тремя словами Эразма Пильца) были одним из последних выступлений автора «Куклы» на страницах газеты «Край». После своего продолжительного сотрудничества в газете «Край», где в 80—90-е годы систематически публиковались его «Варшавские письма», где напечатаны были некоторые его литературно-теоретические и литературно-критические статьи, а также части из романов «Эмансипантки» и «Фараон», Болеслав Прус в 1899 году навсегда порвал свои отношения с «Краем», с его умеренно-либеральной политической линией. Приближаясь к этому разрыву, Болеслав Прус не выполнил просьбы редакции «Края» и не написал в связи с пушкинским юбилеем какого-либо развернутого письма, явно затруднявшего его. Он ограничился лишь кратким высказыванием о роли Пушкина в развитии поэтического языка.

В польском обществе всегда был высок общественный, нравственный и литературный авторитет Томаша Ежа (Зигмунта Милковского), участника событий 1848 года в Венгрии, 1863 года в Польше и создателя многих демократических произведений, проникнутых идеей освобождения родины. Он был автором одного из крупнейших польских романов «Ускоки» о национально-освободительной борьбе народов. В 1899 году в связи с пушкинскими торжествами, организованными редакцией «Края», Томаш Еж силой своего влияния содействовал распространению среди польских читателей одно-сторонних оценок значения творчества Пушкина. То-

* Автографы приведенных писем Болеслава Пруса хранятся в Народной библиотеке в Варшаве. Рукопис. отд., IV, 8346, т. I, л. 108—111.

маш Еж выступил печатно с резким отказом принимать участие в пушкинских торжествах, организуемых «согласителями» из редакции «Края». Кроме того, Томаш Еж в своем печатном выступлении не только разделил легенду о примирении Пушкина с царизмом (довольно широко распространенную тогда в пушкиноведении), но и акцентировал мысль о том, что поэзия Пушкина не совместима с национально-патриотическим самосознанием поляков.

В своем открытом письме о Пушкине от 17 июня 1899 года из Женевы, опубликованном в польской газете «Nowa Reforma» 21 июня того же года, Томаш Еж утверждал, что «патриотизм Пушкина не согласуется с патриотизмом Мицкевича. Я на том стою... Для нас Пушкин не интересен как человек и абсолютно равнодушен как поэт. Человек, который склонился перед царем и отдал ему свою душу, не может быть выдвигаем как пример. Пушкин-поэт великим является лишь для своих, нас же это совсем не касается, так как он не оказал ни малейшего влияния на нашу литературу, несмотря на то, что его произведениями кормят нашу молодежь в школах. Сопоставления Пушкина с Мицкевичем, навязывание Мицкевичу дружбы к «правительством согбенному» (камер-юнкер «К друзьям-москалям»), специальные исследования о Пушкине, нельзя оценить иначе, как только подчинение польской литературы взглядам и видам особой политики, которой оказалась уже подчиненной история некоего образца». (Народная б-ка в Варшаве. Рукопис. отд., IV, 8346, т. 2, л. 10; переведено нами. — А. К.).

В 20-е годы нашего столетия в условиях существования в Польше буржуазно-санационного режима, — политический и идеологический курс которого не только поддерживал, но больше того, инспирировал всяческие антирусские националистические тенденции даже в науке, — было затруднительно, чтобы польское пушкиноведение захотело строго объективно разобраться во всей сложности содержания проблемы Пушкин и Польша.

Неудивительно, что в 20-е годы в Кракове и Париже на польском и французском языках вышла даже специальная работа Вацлава Ледницкого об «антипольской трилогии» Пушкина. Общая концепция исследования «антипольской трилогии Пушкина» была столь определенной, что не помешала исследователю характеризо-

вать великого русского поэта как создателя «полякопожирательских стихов».

Вацлав Ледницкий постарался дело изобразить так, что будто русофобская тема была одной из важнейших тем всей западноевропейской литературы, что будто сам Байрон «утвердил антирусскую традицию в европейской литературе», еще выше подняв в романтизме культ Наполеона, связанный с мотивами сочувствия, сострадания и героизации Польши. Разумеется, Ледницкому в построении такого высокого, но шаткого сооружения пришлось прибегать к явным натяжкам, вроде той, что будто Байрон сочувственно описывал трагедию армии Наполеона в России, а пожар Москвы был для него прекрасен в прямом и жестоком смысле. Сатирические стихи Байрона о Екатерине II и Александре I Ледницкий интерпретировал как стихи антирусские. С помощью подобных софизмов Ледницкий настойчиво стремился противопоставить «антипольскую трилогию» Пушкина европейской цивилизации, полагая, что поэт тщился защитить жандарма Европы Николая I от европейского осуждения, презрения и насмешек.

Завершая построение концепции о «свирепом националистическом эгоизме Пушкина» («okrutny egoizm nacjonalistyczny»), Вацлав Ледницкий утверждал, что «антипольская трилогия была теми триумфаторскими Бранденбургскими воротами, под аркой которых проходили все русификаторы Привислянского края, армия, усмирявшая Польшу и Литву в 1863 году, под аркой этих же ворот прошли, держась за руки, Муравьев и Апухтин, вся фаланга писателей-полонофобов, таких, как Загоскин, Гоголь и Достоевский». В его истолковании трилогия Пушкина была не только триумфаторской аркой, но и «поэтической крепостью, построенной для защиты империалистических границ русской культуры».

Мнение о Пушкине — создателе «антипольской трилогии» остается, в сущности, непреодоленным, особенно среди буржуазных литературоведов. Это мнение разделяли и подтверждали более поздние работы самого Ледницкого, а также исследования тех ученых, которые в этом вопросе шли за Ледницким. Даже автор наиболее обстоятельной зарубежной монографии о П. А. Вяземском австрийский славист Г. Вытженс в работе «Вяземский и Польша» считал, что Пушкин в стихотворе-

нии «Клеветникам России» разделял позицию «официально-националистическую».

В исследовании русско-польских исторических и культурных связей, в освоении творческого наследия великого Пушкина многое сделано силами польских литераторов и ученых за годы существования Польской Народной Республики. Однако проблема Пушкин и Польша еще не решена и не изучена во всей ее полноте и сложности.

Например, в двухтомной истории русской литературы, изданной в 1970—1971 годах под редакцией Мариана Якубца, вопрос о Пушкине и польском восстании 1830—1831 годов остается как-то в стороне.

«В связи с обострением и дальнейшим развитием конфликтной ситуации в отношениях поэта с обществом и Николаем I, а также в связи с ростом оппозиционных настроений и такими событиями в политической жизни тогдашней Европы, как июльская революция, ноябрьское восстание и русско-польская война (за которой Пушкин следил пристально и на которую живо реагировал), особенно углубились интересы поэта к истории и, главным образом, к тем периодам, в которые совершались резкие общественные перемены и имели место бунты или крестьянские восстания».

Даже такой знаток творчества Пушкина, как Мариан Топоровский в своей книге «Гений и царизм» (Варшава, 1971) характеризовал отношение русского поэта к польскому восстанию 1830—1831 годов весьма односторонне, говоря, что «Недавний изгнанник за вольнолюбивые стихи отнесся к восстанию решительно неприязненно. Стоял на позиции государственного патриотизма».

В авторе стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» Мариан Топоровский усматривал то послушного исполнителя царского закона, то ястреба на древках царских полков, то воинственно обеспокоенного двуглавого орла, то кота, ходившего не по золотой, а по железной цепи на анчаре, дереве яда и смерти.

Другой современный польский исследователь Б. Бялокозович в своей (в целом важной и нужной) книге о польско-русских литературных связях в XIX веке в вопросе об авторе стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» не проводил достаточно глубокой разграничительной линии между этими произве-

дешнями и полникой Николая I. Исследователь выдвинул такой тезис: «Ноябрьское восстание Пушкин рассматривал в плоскости исторически обусловленного спора двух народов, а не в более широком контексте обще-европейских революционно-демократических и национально-освободительных битв и не понимал, не отдавал себе отчета в том, что польское восстание, укрепляя силы демократического лагеря в Европе, ослабляло царизм как оплот европейской реакции».

В таком утверждении многое сомнительно, так как польское восстание 1830—1831 годов А. С. Пушкин рассматривал не только «в плоскости исторически обусловленного спора двух народов», но и в более широком обще-европейском «контексте».

Однако здесь же ради объективности следует отметить, что тот же исследователь в своей более поздней работе, а также в своем докладе 23 августа 1976 года на пленарном заседании III Всемирного конгресса преподавателей русского языка и литературы в Варшаве, как бы преодолевая вышеприведенный тезис, развивает идею общечеловеческого значения пушкинского поэтического мышления о Польше.

«В ощущении Пушкина, — говорит исследователь, — Польша отождествляется с именами Костюшко и Мицкевича... в художественном восприятии Пушкина имена Тадеуша Костюшко и Адама Мицкевича являлись символом Польши: Костюшко — это польский патриотизм в действии, символ польского национально-освободительного движения, вооруженной борьбы за независимость родины; Мицкевич — гордость польской культуры, поэт-пророк, избранник, вития, воплощение поэтического гения, символ преданной службы высоким идеалам своей Родины и Человечества».

Чем больше мы отдаем себе отчет в трудностях изучения проблемы Пушкин и Польша, тем настойчивее выступит задача более аргументированного определения места стихотворений А. С. Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и «Перед гробницею святой» в общем развитии польской темы в творчестве великого поэта, у которого, как справедливо говорит Игорь Бэлза, «начиная с лицейских лет и кончая 30-ми годами, связи с польской культурой не прекращались».

Весьма важно выяснить вопрос — имеет ли какое-

нибудь внутреннее единство решение А. С. Пушкиным польской темы в 20-е и 30-е годы XIX века? Если сторонники концепции о Пушкине — создателе «антипольской трилогии» так выделяют три произведения поэта, то тем самым они предполагают наличие какого-то очень существенного перелома в развитии польских мотивов, связей, польской темы в пушкинском творчестве. Но был ли такой резкий перелом? Или, может быть, «трилогия» была одним из моментов органического развития какого-то единого и широкого пушкинского воззрения на историю и современность в отношениях России и Польши?



ПОЛЬСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА

В 20-е ГОДЫ

(До польского восстания 1830—1831 годов)

**Пушкинское понимание
проблемы европейской
цивилизации**

А. С. Пушкин никогда не разделял мысли об изолированности России и русской культуры от европейской цивилизации. Тем не менее один из авторитетных польских буржуазных ученых В. Ледницкий свою книгу о творчестве Пушкина начал именно с декларирования своей исходной и глубинной концепции о том, что будто «Россия, как преданная анафеме, остановилась перед воротами республиканского христианства; как морально, так и физически она оказалась изгнанной за границы Европы». Затем исследователь, применяя эту «формулу», позаимствованную из одного французского источника, к вопросу о России и Польше, настаивал на том, что Польша всегда была границей Европы в отчуждении и отдаленности ее от России, всего русского и восточного: «Эта формула, возникновению которой особенно содействовал Чаадаев, ныне является truизмом, известным везде — больше всего у нас, так как считаем себя границей Европы... Несмотря на династические и политические отношения, которые соединяли средневековую Россию с Западом, тем не менее она не принимала участия в строительстве фундамента европейской цивилизации. Очагом европейской цивилизации был католический Рим, от которого Россию отделял четырехплечный крест византийский. Благодаря этому за пределами русского национального сознания прошел Ренессанс вместе со всеми своими могучими битвами религиозными, моральными, философскими, общественными и политическими. С того и пошло, что высочайшие достижения европейской цивилизации, — такие как: гармоническое овладение различными и противоположными факторами и течениями, из

которых одни свое начало брали в мире античном, другие в Евангелии, первые вели к обожествлению в героизме человеческой плоти, а вторые были направлены на сотворение в человеке способности обобщать этот героизм через связь с Богом, их гармонический синтез, — до сегодняшнего дня являются для России легендой, влекущим, но недостижимым мифом».

Концепция изолированности, исключенности России из истории европейской цивилизации, которая по сей день имеет своих оруженосцев на Западе, была враждебна и чужда Пушкину по целому ряду глубоких причин и оснований. Лишь одним из ряда таких причин и оснований было исторически обусловленное глубокое убеждение Пушкина, сложившееся еще в годы лицейской юности, в том, что история, судьбы Европы и европейской цивилизации немыслимы без России хотя бы потому, что Россия спасла Европу от татаро-монгольского ига в XIII—XV веках. А в начале XIX века Россия освободила Европу от гнета императора и завоевателя Наполеона Бонапарта.

Не столько свидетель, сколько духовный участник народной войны 1812 года, Пушкин умом и всем существом своим воспринимал историю и современность России и Польши как часть многосложной и драматически противоречивой истории и культуры Европы.

Не отделяя русско-польских отношений от истории Европы, Пушкин еще при появлении самых первых истоков польской темы в своем творчестве художественно овладевал мыслью о том, что влияние западноевропейских держав и политиков приносило дополнительные трудности и осложнения в и без того трудные и сложные русско-польские дела.

В марте 1818 года, когда Александр I находился еще в упоении своим либерализмом, состоялось открытие первого конституционного сейма в Варшаве. В тронной речи на этой церемонии Александр I, как известно, обещал введение конституционных форм не только в Королевстве Польском, но и во всей России. Князь П. А. Вяземский, служивший тогда в Варшаве, был одним из главных лиц по редактированию и переводам материалов, связанных с открытием польского сейма и обнародованием тронной речи. В то время П. А. Вяземский еще пользовался милостивым вниманием и одобрением со стороны игравшего в либерализм самодержавца.

П. А. Вяземский лишь после второго Польского сейма (1820) и после того, как Александр I запретит ему служить и пребывать в Варшаве, начнет понимать, что самодержавец всея Руси и король польский разыгрывал политический фарс. Об этом глубоком разочаровании Вяземского автор специальной работы «Князь Петр Андреевич Вяземский и его польские отношения и знакомства» так напишет в 1890 году: «Громадное преимущество Вяземского по польско-русскому вопросу перед современными ему публицистами и поэтами, такими, как Жуковский и Пушкин, заключалось в том, что он отлично знал этот вопрос с его лицевой и оборотной стороны. Никто не сознавал так хорошо, как он сам, что на варшавских сеймах становилась и разыгрывалась новая драма с загадочною, но трагической развязкой».

Не будем пока забегать вперед, но в отношении к 1818 году с уверенностью можно сказать: А. С. Пушкин раньше, чем П. А. Вяземский, почувствовал и высказал художественно, что тронная речь Александра I в Варшаве на открытии первого Польского сейма уже была политической фальшью. В конце 1818 года стали рукописно распространяться пушкинские «Сказки» (Noël). Сатирические стихи прозрачно намекали на австрийско-прусскую реакцию, которая в лице австрийского императора и короля прусского на Аахенском Конгрессе (сентябрь, 1818) со своей стороны помогли и ускорили превращение конституционных обещаний Александра I, данных в Варшаве, в сказки и фарс.

Другими источниками появления в творчестве А. С. Пушкина польской темы были его впечатления от знакомств и встреч с представителями польской образованности, искусства и культуры. Интересы А. С. Пушкина к вопросам русско-польских исторических, культурных и даже личных отношений еще до встречи и знакомства с Адамом Мицкевичем были, пожалуй, шире и значительнее такой высказывавшейся характеристики: «Польские культурные контакты и знакомства Пушкина до Мицкевича не были ни многочисленными, ни счастливыми».

Первые истоки польской темы

Одним из первых близких «польских знакомств» молодого Пушкина, оставивший лаконический яркий штрих в поэме «Руслан и Людмила» был Александр Орловский.

Художник европейской известности Александр Орловский существенно обогатил в начале XIX века культурные связи Польши и России. Последние тридцать лет (1802—1832) он жил и творил в Петербурге. Большое место в живописи Орловского, наряду с портретами, зарисовками с натуры, темами из жизни крестьян (картины «У колодца», «В кузнице») занимали сюжеты из польской истории и, прежде всего, связанные с движением и личностью Костюшко.

А. С. Пушкин так высоко ценил мастерство этого художника, что в своей юношеской поэме не только упомянул польского живописца приветственно и одобрительно, но и метко заметил о его творческой манере:

— Бери свой быстрый карандаш
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!

Позднее вслед А. С. Пушкину более развернуто своеобразие выдающегося живописца определит Адам Мицкевич в своей знаменитой поэме «Пан Тадеуш», поэтически увековечив образ Александра Орловского как художника-патриота.

Даже этот небольшой факт из польских связей Пушкина опять и опять возвращает нас к ощущению, что все известное, сохранившееся, дошедшее до нас является лишь малой частицей из того частого, живого, многогранного, что знакомило поэта с польской историей и культурой, ставило его в определенные отношения с различными носителями польской образованности и искусства. Известно, например, что в 1828 году польский художник, автор картин на религиозные сюжеты и копист итальянских мастеров В. Ванькович (1799—1842) написал одухотворенный портрет А. С. Пушкина и портрет Адама Мицкевича, одетого в черкесскую бурку и глядящего вдаль. В живой же действительности тех далеких дней этот факт был окружен, связан со множеством встреч, контактов, впечатлений, сведений и т. д. Так, в дневнике Елены Шимановской под 19 марта 1828 года мы можем прочесть:

«Перед полднем г. Малевский, кн. Вяземский и г. Пушкин пришли к нам. Г. Пушкин принес альбом, в котором сделал запись. Вместе с этими господами мы поехали на Васильевский остров, где живет художник Ванькович. Там мы видели портреты Мицкевича и Пуш-

кина, которые он сделал для выставки в Варшаве. Оба очень похожие. Оттуда мы поехали к художнику Орловскому. У него есть собрание редкостей различного рода. Среди них письмо, которое ему написал собственноручно Костюшко. Я не могла без волнения смотреть на письмо этого мужа. Как много воспоминаний, хороших и вместе с тем печальных...».

Хранящиеся ныне в музее Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого в Варшаве дневники Елены Шимановской свидетельствуют, что А. С. Пушкин весной — летом 1828 г. был частым гостем в петербургском доме блестящей польской пианистки и композитора Марии Шимановской и ее дочерей Елены и Целины.

В музыкальном салоне Шимановских бывали, кроме А. С. Пушкина, Адам Мицкевич, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, братья Виельгорские, польские художники Орловский, Олешкович, Ванькович. Дочь Шимановской Целина позже стала женой Адама Мицкевича. В атмосфере русско-польских связей, контактов, знакомств, взаимопонимания, царивших в доме Шимановских, А. С. Пушкин и сделал свою запись в тот альбом хозяйки дома, о котором упоминала Елена Шимановская в выше приводившейся дневниковой записи. Действительно, А. С. Пушкин 1 марта 1828 года в альбом Марии Шимановской вписал трехстишие:

...Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь — мелодия...

Так как эта мысль-образ войдет в беловой автограф маленькой трагедии «Каменный гость», помеченной датой 4 ноября 1830 года, то есть основания предположить, что замысел или даже работа над произведением начиналась значительно раньше знаменитой «болдинской осени» и как-то соприкасалась с впечатлениями А. С. Пушкина, шедшими, в частности, из музыкального салона Шимановских.

**Знакомство с
Густавом Олизаром**

Общение А. С. Пушкина в начале 20-х годов XIX века с польским поэтом графом Густавом Олизаром не только расширило круг знакомств русского поэта с представителями польской образованности и литерату-

ры, но и определило пушкинский поэтический отклик на русско-польские отношения.

Чтобы глубже понять пушкинские стихи, обращенные к графу Густаву Олизару, следует обстоятельнее (чем это делалось в нашем пушкиноведении) рассказать об этом человеке.

Густав Олизар родился в 1798 году в богатой графской семье на Волыни. Учился сперва в Житомире, потом в лицее в городе Кременец. В 1814 году выехал вместе со своим отцом за границу. Жил в Италии, где в 1815 году женился на итальянке, графине Каролине де Моло, с которой через несколько лет развелся, имея от нее сына и дочь. Вернувшись из-за границы, жил в родном Коростешове. В 1821 году был избран в члены дворянского собрания Киевской губернии. Некоторое время жил в Киеве и Петербурге. Состоял членом мasonicкой ложи. В этот период жизни Густав Олизар добивался руки Марии Раевской, дочери генерала Раевского — героя 1812 года.

В 1830 году Густав Олизар женился на Юзефине Ожаровской. В период польского восстания он был арестован и сослан в Курск, куда к нему приезжала жена. После поражения восстания Олизару был разрешен выезд вместе с женой за пределы России. Жил в Италии, потом в Германии, в Дрездене. В 1843 году путешествовал по Литве. В 1847 году встречался с Юлиушем Словацким. Около 1850 года познакомился со Станиславом Монюшко и вместе с ним написал оперу «Ванда». Умер в Дрездене 2 января 1865 года.

Литературное наследие Густава Олизара опубликовано лишь частично. В ряду изданий на польском языке сборник стихотворных произведений «Воспоминания» в двух тетрадях, изданный в Вильно в 1840 году. «Чай у госпожи Наудальской», комедия в одном акте, изданная в Вильно в 1859 году.

В истории польской литературы и общественности известность фамилии Олизар связана с жизнью и творчеством старшего брата Густава — польского писателя и публициста Нарциса Олизара (1794—1862), который был активным участником польского восстания 1830—1831 годов и одним из энергичных деятелей польской эмиграции. Арестованный после поражения восстания 1830—1831 годов, Нарцис Олизар совершил побег из тюрьмы в Житомире и уехал во Францию, где был пер-

вым председателем «Общества третьего мая», которое своей целью ставило борьбу за национальное освобождение Польши и ее социальное развитие на основе первой польской конституции от 3 мая 1791 года.

Приведенные биографические данные о Густаве Олизаре помогают полнее представить идейно-нравственный облик этого деятеля польской образованности и литературы в период его знакомства и встреч с А. С. Пушкиным, которые разрешились, как известно, двумя поэтическими посланиями: Густава Олизара к А. С. Пушкину и ответно-поэтическим обращением великого русского поэта к польскому «Певцу».

**Стихотворение
«Пушкину»**

Стихотворное обращение Густава Олизара к А. С. Пушкину, написанное в 1821 или первой половине 1822

года, долгое время пролежало в бумагах великого русского поэта и лишь в 1938 году было опубликовано в польском оригинале и русском переводе.

Поскольку публикация в настоящее время малодоступна, то целесообразно привести стихотворения Густава Олизара в переводе на русский язык. Этот перевод сделан нами и, на наш взгляд, является более точным:

ПУШКИНУ

Поэт могучего Севера!
Почему нежный звук твоей лиры,
Как век твой, полный силы,
Покровом траурным прикрыт?

Почему, нам красоту рисуя,
Ты покрываешь ее черной ночи тенью?
Малая искра (наверное, думаешь)
В темноте большим пламенем тлеет?

Но искра гения твоего
Помериться может с блеском солнца.
Используй ее творческий дух;
Будет она также светить без конца!

И если солнце топит льды
Из оков шумные освобождает реки,
То искра гения твоего возрождает народы
И преображает давние столетия.

Куда ж угрюмые направил ты шаги?
Ах! Почему твой взор нахмурен?

Или тебя терзает глубокая печаль,
Или милые сердцу обновляешь раны?

Может быть, ты вспомнил тех двух братьев,
Которые так друг друга любить умели!..
Память о них мир не утратит,
Ведь вместе они погибнуть хотели!

«Разбойники» — так их называли;
Но гений новым своим творением
Превратил караемое преступление
В добродетель под топором палача.

И ты такую власть не ценишь?!
Ты ж управляешь чувствами людей.
Как же ты при такой важности идси
Велишь преступление почитать лишь слезами
жалости!..

Может, тебя печалит любовь?
Усмехаешься при воспоминании о ней!
Не покинула ли тебя возлюбленная?
Не терзает ли тебя подозрение?..

Ты миновал двадцатую весну,
Поверишь еще и в любовь,
Минутам печальным и радостным
Ты позволишь зависеть от единого взгляда!

Мог бы ты это назвать мукой?..
Проясни чело омраченное.
Сорви смелой рукой
С очей своих окровавленную завесу!

Пушкин! Ты так еще молод!
А отчизна твоя так велика!..
Еще слава и награды, и надежда
У тебя впереди!

Возьми лиру и мужественным голосом
Пой... Но не я укажу на предметы твоих песен!..
Не издевайся лишь над побежденными судьбой,
Иначе потомки такой твой стих отвергнут!

А когда ты достигнешь вершины славы,
Когда она возрастет так же, как твоя страна,
Знай, что в лесах между скал
Скорбно поэт сарматский стонал. .

Стремясь развить, уточнить и дополнить тот комментарий, который был дан к этому стихотворению при первой его публикации в 1938 году, хотелось бы прежде всего сказать, что для современного читателя эстетическая сторона произведения представляет интерес на-

именьший. Преувеличенная чувствительность, распространенные мотивы и формы элегического романтизма — эти особенности менее интересны для нас, чем те непосредственные жизненные факты, мысли и чувства, которые легли в основу стихотворного послания к юному Пушкину. Возможно большая полнота выявления последних была и является сейчас для нас главной целью и основной трудностью комментирования встреч Пушкина с Густавом Олизаром, которые, как свидетельствует само стихотворение, а также мемуарные русские и польские источники, неоднократно происходили между ними в 1821—1824 годы в селе Каменка, в салонах Кишинева и особенно Одессы.

Текст олизаровского послания с несомненностью свидетельствует, что поэтический гений молодого Пушкина, воспринимался и оценивался представителем польской образованности и литературы не только как факт замечательный в русской поэзии, но и как явление, развивающееся, содержащее в себе огромные творческие потенции и возможности.

Текст стихотворения «Пушкину», взятый в сопоставлении с позднейшими воспоминаниями Густава Олизара о его увлеченности и неудачном сватовстве к Марии Раевской, письмо ее отца, генерала Н. Н. Раевского к Олизару (а также черновик ответного стихотворного обращения Пушкина польскому «Певцу») не оставляют сомнений в том, что романтические мотивы о силе и властительности любовного чувства, о нравственной значительности всех переживаний, связанных с ним, имели жизненной основой отношения Густава Олизара к Марии Раевской. И, видимо, польский поэт говорил обо всем этом потому, что считал Пушкина осведомленным о его интимно-любовных переживаниях, глубоких и не очень счастливых.

Олизаровские стихи, в которых молодой русский поэт обрисован не легкомысленным, не увлекающимся, не шумно веселым, а скорее разочарованным и угрюмым, и не познавшим еще всей силы любовного чувства, не дают оснований предполагать, что Олизар и Пушкин были вместе очарованы Марией Раевской и культивировали свою «архиромантическую любовь на прекрасном фоне украинских черешен». И вообще, чувства А. С. Пушкина к Марии Николаевне Раевской, а потом верной жене князя-декабриста, «государственного пре-

ступника» С. Г. Волконского заставляют нас глубже понимать известные стихи из «Евгения Онегина», связанные с ней. Это предлагала сделать еще сама М. Н. Раевская-Волконская, которая писала:

«Пушкин был принят моим отцом в то время, когда его преследовал император Александр I за стихотворения, считавшиеся революционными. Отец когда-то принял участие в этом бедном молодом человеке с таким огромным талантом и взял его с собою на Кавказские воды, так как здоровье его было сильно подорвано. Пушкин никогда этого не забывал; связанный дружбою с моими братьями, он питал ко всем нам чувство глубокой преданности.

Как поэт, он считал своим долгом быть влюбленным во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался. Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей (сестра М. Н. Раевской. — А. К.), нашей англичанкой, русской няней и компаньонкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее; кончилось тем, что я промочила ноги. Помню, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картина была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи: мне было тогда лишь 15 лет.

Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к ее ногам!
Как я желал тогда с волнами
Коснуться милых ног устами!

Позже в поэме «Бахчисарайский фонтан» он сказал:

...ее очи
яснее дня, темнее ночи.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел».

Все в творчестве А. С. Пушкина, что связано с М. Н. Раевской-Волконской и навеяно ее обликом, было всегда неизмеримо содержательнее преходящей ро-

мангической влюбленности. Но об этом чуть ниже. А пока в анализе стихотворения Густава Олизара «Пушкину» весьма важно обратить внимание на другое — на политические мотивы, несомненно содержащиеся в нем, особенно в последних трех строфах.

То, что Густав Олизар встречался с Пушкиным в селе Каменка, этой столице Южного тайного общества декабристов, значит немало. Там уже с 1820 года А. С. Пушкин был принят и славен как автор «Вольности», «Noći», «К Чаадаеву», «Деревня», «Кинжал», «В. Л. Давыдову».

Надо было непременно знать политические страсти, темперамент и возможности пушкинской лиры, для того чтобы в поэтическом обращении к Пушкину заговорить как приверженец идеи и дела польского национально-патриотического движения, оппозиционный в отношении к русской империи, разделившей Польшу, и к тем полякам, которые приняли такой раздел и примкнули к русскому самодержавию. Густав Олизар, восторженно сознавая могучие творческие силы пушкинского гения и призывая пушкинскую лиру к песне мужества, деликатно не рисковал указывать на предмет песнопений. Он лишь просил великодушия к своим соплеменникам, сторонникам польского патриотического движения, которые были «побеждены судьбой» после подавления национально-освободительного восстания под руководством Костюшко и после краха польских трагических надежд и участия поляков под знаменами Наполеона в 1812 году.

Конечно, эти стихи являлись отзвуком разговоров на политические темы, которые они вели, но каких? Видимо, разговоры между Олизаром и Пушкиным на политические темы были значительно шире «различия двух государственных точек зрения».

Сама нравственная и идейная атмосфера южнодекабристской среды первой половины 20-х годов, в которой встречались и общались Пушкин и Олизар, была очень многогранной по характеру философских, нравственных и политических интересов. И в этой многогранности идейно-политических интересов в среде передовой дворянской интеллигенции, близкой к будущим декабристам, значительное место занимали вопросы исторических и современных отношений и связей славянских народов, их будущей судьбы, их освободительного сою-

за их внешних и внутренних трудностей развития. Переговоры Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина с представителями революционного Польского общества и Общества соединенных славян, последовавшее слияние Южного тайного общества с Обществом соединенных славян были действенной и высшей формой развития тех волнующих идей времени.

Сходные, так сказать, «встречные» настроения, идеи и действия были характерны и для кругов польской передовой шляхетской, особенно военной и студенческой, интеллигенции той же первой половины 20-х годов. Польский писатель Ян Чинский, который остро чувствовал и хорошо знал идейно-политический «климат» польского общества 20—30-х годов XIX века, в своем романе «Цесаревич Константин и Иоанна Грудзинская или польские якобинцы» (впервые издан был в Париже в 1837 году), рисуя жизнь польского народа, интриги панов, нищету и придавленность низших сословий и т. д., с особой увлеченностью изображал «усилия великих мужей Пестеля и Лукасинского», отдавшихся делу освобождения русского и польского народов.

Пестеля автор рисовал, например, так:

— О нет! Кжижановский, — сказал Лукасинский, который перед тем не спускал глаз с русского.

— Пестель наш, наш. О, прости нам, Пестель, наши подозрения...

— Это недостаточно, братья, что царевич погибнет, — отозвался Пестель.

— На вас лежит обязанность сдержать Австрию и Пруссию, если бы они захотели штыками надеть на нас новое ярмо неволи. Пока мы будем заняты у себя неминуемой гражданской войной, вы будете нашей передней стражей и не пустите прусских и австрийских захватчиков, чтобы они уничтожили наши и ваши надежды.

— Ты знаешь поляков, Пестель! Когда мы были глухи к голосу битвы за свободу? Клянусь тебе именем братьев, что мы грудями поставим стену, которую ни Пруссия, ни Австрия не пробьет. Но тогда, когда вы победите внутренних врагов, не будем ли мы, ваши защитники, принуждены спорить с вами на поле битвы за нашу независимость и границы!

— Никогда, никогда! Клянусь вам именем святого союза, — воскликнул Пестель.

Ниже писатель рисовал, как Пестель договаривается с деятелями польского национально-освободительного движения о совместных действиях.

Обо всем этом мы напомнили для того, чтобы, комментируя последние строфы стихотворения, иметь право предположить, что круг разговоров Пушкина и связанного с тайными обществами Густава Олизара на политические темы мог быть довольно широким, шире, повторяем, упомянутого «различия двух государственных точек зрения». Возможно и вероятно, что и «загадочная» последняя строфа польского стихотворения содержит в себе тоже отголосок пушкинско-олизаровского диалога, касавшегося русско-польских отношений.

По поводу упомянутой строфы Мариан Топоровский замечал, имея в виду первые публикации 1938—1939 годов в «Литературном архиве» и в упомянутой книге о Пушкине, вышедшей в Кракове: «Ни издатель, ни польская комментаторка (М. Намыстовская) не пытались выяснить последней загадочной строфы».

С нашей точки зрения, последняя строфа интересна не только тем, что в ней высказана уверенность польского автора в высоком и славном развитии пушкинского поэтического таланта, который будет расти вместе со своей страной, и не только тем, что автор в будущем намерен жить в «лесах между скал». Важно и интересно олизаровское доверчивое признание Пушкину, что он, польский поэт, будет жалобно и одиноко стонать, как один из побежденных судьбой. Таким признанием польский поэт причислял себя к польскому национально-освободительному движению. К сказанному о последней «загадочной» строфе необходимо, наконец, прибавить, что в ней содержится очень характерная реминисценция, смысл которой, несомненно, был ясен А. С. Пушкину.

Завершая поэтическое послание к Пушкину просьбой в будущем помнить, что поэт сарматский «скорбно стонал», Густав Олизар использовал здесь широко известное в те времена стихотворение Францишека Карпинского (1741—1825) «Плач Сармата над могилой Сигизмунда Августа» и причислял себя и свою поэзию к тем мотивам патриотической скорби, которые так прощипованно были выражены в названном произведении Карпинского:

Король Сигизмунд, перед могилою твоею,
Пока не сомкнулись навек мои вежды,
Слагаю я все, что имел и имею, —
И саблю, и радость свою, и надежды,
И бедную лиру, ненужную больше,
Себе оставляю лишь слезы о Польше.

Пушкинский поэтический ответ Густаву Олизару энергично и сразу же «продолжит» именно этот мотив и восклицание из последней «загадочной» строфы. Значит, для самого А. С. Пушкина никакой «загадочности» в концовке олизаровского стихотворения не было.

Как одна из первых попыток польской поэзии художественно осознать и запечатлеть личность и творчество А. С. Пушкина, стихотворение Густава Олизара «Пушкину» открывает в польской литературе пространную перспективу развития пушкинской темы. После Густава Олизара тема и образ великого русского поэта будет привлекать и увлекать многих представителей польской литературы. Как «эхо» пушкинской оды «Вольность» прозвучит в 1826 году стихотворение Мауриция Гославского «На смерть Пестеля, Муравьева и других мучеников русской свободы». В аллегорическом образе девы — вольности, «изгнанницы с берегов Вислы» и «невской мученицы», оплакивающей русских героев и мучеников, погибших за святое дело, польская пушкиниана видит своеобразный эпилог пушкинской оды «Вольность».

Первым польским критиком, рассказавшим читателям о Пушкине, был Станислав Яшовский (1803—1842), имевший связи с русскими и украинскими литераторами. В 1824 году этот довольно проницательный критик в статье «Пушкин», опубликованной во Львове, характеризовал поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник» и «Бахчисарайский фонтан» как подлинно оригинальные «сокровища российского Парнаса», созданные «молодым и гениальным поэтом». С. Яшовский высказывал предвидение, что в будущем Пушкин смог бы решиться на создание произведения более крупного и эпического.

Поклонник пушкинского таланта Станислав Яшовский в 1837 году в состав собранного и изданного им во Львове сборника «Славянин» включил и свой сонет, в котором поэтически прославлял незадолго погибшего

А. С. Пушкина. Великий русский поэт изображен в сонете Яшовского как «новый пророк», который в краю льда, диких лесов и снежных степей будил мертвых «огненными словами». Автору сонета «Пушкин» казалось, что творения поэта-пророка «с сердцем, кипящим борьбой», читают в России люди всех положений и всех национальностей: салонный петербуржец и купец, ведущий в Китай караван; «башкирец, вооруженный луком», «тучный татарин» и «камчадал, одетый в меха соболиные».

В сонете Станислава Яшовского отношение поляков к А. С. Пушкину как к великому поэту необъятно обширной страны предстало столь конкретно и картинно, что в польском пушкиноведении нашего времени высказано предположение, будто С. Яшовскому каким-то образом оказалось известным стихотворение «Я памятник себе воздвиг...»

«Удивительное сходство заключительного мотива этого сонета с «Памятником» Пушкина, который был написан в августе 1836 года, но опубликован впервые был лишь в 1841 году», — побуждало авторитетного польского исследователя М. Топоровского — предполагать, что «Памятник» Пушкина распространился очень быстро в списках за границей России».

Такое предположение польского ученого неосновательно. Как справедливо показал академик М. П. Алексеев, «характеристика широкой известности, посмертной славы поэта, — у Пушкина предвидимой, у Яшовского уже бесспорной, — подтверждаемой в обоих случаях перечислением его разноплеменных читателей, могла возникнуть у русского и польского поэтов совершенно самостоятельно».

В польской поэзии тема и образ великого русского поэта многократно варьировали олизаровское восприятие пушкинского гения как покорителя пространств и сердец, народов и положений, обстоятельств и времен. И каждый раз это совершалось творчески самостоятельно и свободно, потому что опиралось на живое и растущее воздействие пушкинского художественного наследия. Кроме того, представление о всевластии гениального художника являлось эстетическим идеалом, характерным и распространенным в польской и русской передовой литературе нового времени, корнями глубоко уходящим в традиции античности, европейского Воз-

рождения и, главное, собственной национальной литературы.

Видимо, в тот же год, год трагической гибели А. С. Пушкина, другой польский поэт и солдат польского восстания 1830—1831 годов Петр Дальман написал стихотворение «К Пушкину», которое напечатано было в 1841 году во Вроцлаве. Образы этого стихотворения рисовали могучее воздействие пушкинской поэзии в таких масштабах и границах, что они включали в себя «пробужденные огненными рифмами людей от Немана до Камчатки», от Кремля до Балкан; от Днепра до Невы:

Гений быстролетный! Поэт с Невы!
Ты вместе с Байроном, пламенным...
И с великим поэтом Польши,
— что отчие земли
На вещей арфе воспеваешь печально...
Ты с теми пророками
В прекрасной троице
Заблестишь над могилами веков.

Упрочению эстетического стремления к развитию в польской литературе темы Пушкина-поэта в самой большой мере способствовало творчество Адама Мицкевича, о чем подробнее будет сказано ниже. Пока же в общей форме определяя роль Адама Мицкевича, необходимо здесь отметить другого великого поэта Польши, современника Мицкевича и Пушкина, Юлиуша Словацкого.

В поэме «арфы и бича», в истории шляхтича Беневского, конфедерата барского, Юлиуш Словацкий придавал языку поэзии исключительно высокое историческое значение.

В одном из свободных и частых авторских отступлений, вспомнив и несколько изменив слова Зигмунта Красинского из письма последнего к Юлиушу Словацкому, автор поэмы «Бенёвский» восклицал:

Кто-то сказал, если б слова
Вдруг могли стать людьми,
Если речь и язык были б Отчизной,
То мне бы памятник сотворили из звуков
С надписью Patri Patriae.

В связи с этим мы должны особо оценить имеющийся в поэме Юлиуша Словацкого мотив о драгоценности пушкинского языка.

В 1841 году в VII песне поэмы «Бенёвский» Юлиуш Словацкий несколько полных сарказма строф посвятил трагическому положению русских поэтов:

...Но художественный язык, полный бриллиантов
У Пушкина, ...у Сенковского полон подлости.
Сегодня, слышал, пишет Лермонтов,
Который полжизни гостит на Кавказе —
К таким царь испытывает отвращение,
К таким и к лавровой поросли,
Которая не тронутая ножом и ножницами
Может расти... И когда-нибудь стать —

виселицей...

В поэме «Бенёвский» Юлиуш Словацкий саркастически отделял прекрасный полный бриллиантов язык Пушкина не только от подлостей Сенковского, но и от верноподданности Кукольника и от «соавтора поэтов», цензора Николая I. Всем этим Юлиуш Словацкий остро и ярко поэтизировал высокую память об истинной художественности пушкинских творений.

Итак, как ни ограничена эстетическая ценность стихотворения Густава Олизара «Пушкину», но оно было началом, первым истоком устойчивого стремления в польской литературе к художественному постижению места и роли Пушкина (стремления действительного и сегодня). Историко-литературный интерес к олизаровскому стихотворению усиливает и другое обстоятельство: это произведение послужило поводом написания А. С. Пушкиным ответного стихотворения «Графу Олизару».

**Пушкинский ответ
графу Олизару**

Черновой набросок стихотворения А. С. Пушкина «Графу Олизару» относится к 1824 году. Оставшись недоконченным, стихотворение было опубликовано лишь в 1884 году. Ответ графу Олизару начинался как своеобразная поэтическая «концентрация» политических споров, разговоров, бесед по вопросам истории и современности русско-польских отношений, которые происходили не только между Пушкиным и Олизаром, но и вообще были одной из примет времени, свойственной особенно дворянской интеллигентской среде, общавшейся с южными декабристами. В своем адресате А. С. Пушкин видит не только одного из представителей идеи и традиции польской независимой государств-

венности, но и поэта, «певца». Лаконичное и энергичное обращение «певец» было для Пушкина столь же несомненным, как почти одновременное обращение Адама Мицкевича, называвшего Густава Олизара «молодым поэтом».

Певец! издревле меж собою
Враждуют наши племена:
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под грозою.

Так польская тема входила в поэзию А. С. Пушкина не в силу какой-либо официальной или националистической предубежденности поэта против польской нации. Эта тема возникала органически, как глубоко осознанное представление об исторически обусловленных русско-польских отношениях, которые в прошедшие десятилетия и века складывались так сложно, что Пушкин, набрасывая ответное стихотворение графу Олизару, вспоминал события 1612 и 1792 годов, гибель польской молодежи в Праге, тогдашнем предместье Варшавы:

И вы, бывало, пировали
Кремля позор и... плен,
И мы о камни падших стен
Младенцев Праги избивали,
Когда в кровавый прах топтали
Красу Костюшкиных знамен.

С этими стихами своеобразно связан тот «польский элемент», который А. С. Пушкин тогда же, в 1824 году, ввел в черновик своего сатирического стихотворения о Екатерине II. Поэт не преминул заметить, что второй раздел Польши обязан императрице («Мы Прагой ей одолжены») и что «великая жена» умерла, «сажаясь на судно». Пушкину, вероятно, было известно, что судно то было изготовлено из трона польских королей.

Старушка милая жила
Приятно и немного блудно,
Вольтеру первый друг была,
Наказ писала, флоты жгла
И умерла, сажаясь на судно.

Восемьдесят лет спустя Л. Н. Толстой будет намереваться разработать в серии рассказов для «Круга чтения» сюжет, помеченный им словами: «Екатерина на судне» (Л. Н. Толстой. ПСС. Юб. изд., т. 55, с. 301—302; 583—588).

В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого есть запись от 25 декабря 1904 года о том, что Лев Николаевич прочел вслух из книги К. Валишевского «Роман императрицы» два рассказа о смерти Екатерины II: один — поляка, монаха Калинки. По этим рассказам Екатерина умерла, сидя на судне, сделанном из трона польских королей... Прочитав это, Лев Николаевич сказал: «Все ищу, чем держится правительство, — как могла такая развратная, ограниченная, злая женщина царствовать тридцать лет?! И сейчас царствуют такие же...» (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. II. М., 1955, с. 173—174).

Образ былых столкновений России и Польши был историчен: он лаконично концентрировал в себе те интересы и сведения из польской истории и русско-польских отношений, значительность и широту которых лишь отчасти характеризуют известные нам книги о Польше, имевшиеся в личной библиотеке автора «Бориса Годунова».

История, былые военные столкновения России и Польши, война 1812 года, в которой с Наполеоном на Москву шли и польские легионы, по мнению Пушкина, наложили отпечаток некоторой настороженности даже на бытовые общения русских и поляков. Поэт полагал, что польский вопрос должен решаться с учетом интересов (как он их понимал) русского народа, отстаившего свою независимость в 1612 и 1812 годах. Память о 1812 годе, опасения возможности будущего какого-либо европейского союза с участием Польши, направленного против России, общее представление о господстве «аристократии как основе чудовищного феодализма», резкое осуждение шляхетско-магнатских притязаний на западные украинские, белорусские и литовские земли — все это делало отношение Пушкина к Польше осторожным, сложным, противоречивым, но не монархическо-великодержавным.

Возвращаясь же непосредственно к содержанию стихотворения «Графу Олизару», трудно не поставить это произведение в историко-литературную перспективу и нельзя не увидеть в нем одну из первых попыток А. С. Пушкина художественно решить польскую тему, как тему большой исторически обусловленной сложности и противоречивости. И вместе с тем (и столь же важно) стихотворение «Графу Олизару» исключало

мысль о какой-либо непреодолимо роковой конфликтности русско-польских отношений. Замысел Пушкина был оптимистичен, поэт верил в возможности русско-польских дружеско-братских сближений, уповая в этом прежде всего на искусство, поэзию. Заключительная октава пушкинского наброска, разрешавшая мотив былых столкновений, вражды и неприязни, поистине оказалась пророческой для дальнейшего развития польской темы в поэзии А. С. Пушкина. В этой же строфе нельзя не услышать и ноты благодарной душевной признательности автору стихотворения «Пушкину»:

Но глас поэзии чудесной
Сердца враждебные дружит —
Перед улыбкой муз небесной
Земная ненависть молчит,
При сладких звуках вдохновенья,
При песнях... лир...
И восстают благословенья,
На племена нисходит мир...

Почему же замысел не был реализован полностью, почему стихотворение «Графу Олизару» было оставлено в черновике? Ставя такой вопрос, вполне отдаем себе отчет в невозможности односложного ответа, так как ощущаем целый ряд факторов и моментов (личных, творческих, исторических), побудивших поэта оставить стихотворение незавершенным.

По иронии судьбы А. С. Пушкин испытал на юге ту любовную увлеченность Каролиной Собаньской и графиней Воронцовой-Браницкой, пережил те чувства, которые, счастливо обогатив и приумножив пушкинскую любовную лирику, в общем-то поставили в некоторое противоречие факты интимной жизни поэта со стихами из Густаву Олизару:

И тот не наш, кто с девой вашей
Кольцом заветным сопряжен;
Не выпьем мы заветной чашей
Здоровье ваших красных жен...

Ирония судьбы оказалась для А. С. Пушкина однажды особенно жестокой. Ни сном ни духом не ведая о том, что красавица-полька Каролина Собаньская была любовницей соглядатая за южными декабристами генерала И. О. Витта и выполняла шпионско-агентурные поручения, поэт, захваченный страстью, в иную минуту

готов был за нее не только поднять «заздравную ча-шу», но и сказать ей самые пылкие и нежные слова:

...Дорогая Элеонора, вы знаете, я испытал на себе все ваше могущество. Вам обязан я тем, что познал все, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и все, что есть в нем самого ошеломляющего... А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор — прохладное, влажное. Это обратило меня в католика...

Любовное увлечение Каролиной Собаньской, пережитое во время южной ссылки, оставило, видимо, глубокий след в душе поэта, коли встретив ее вновь в 1830 году в Петербурге, он не только набрасывал приведенные строчки письма, но и в альбом этой женщине тогда же вписал свои стихи хрустальной печали и прозрачности:

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

В известном противоречии с упомянутым мотивом в стихотворении «Графу Олизару» оказались и некоторые стороны поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823). Сюжетной основой произведения послужило предание о том, как в польскую княжну Марию Потоцкую, похищенную и плененную татарами, влюбился крымский хан Керим-Гирей, который после смерти Марии поставил ей в Бахчисарае мраморный памятник в форме фонтана, названного «фонтаном слез».

Об этом предании А. С. Пушкин слышал и читал не раз. В одном, например, из писем к А. А. Дельвигу поэт сообщал:

«В Бахчисарай приехал я больной. Я прежде слышал о странном памятнике влюбленного хана. К* поэтически описывала мне его, называя *la fontaine des larmes*. Вошел во дворец, увидел я испорченный фонтан: из заржавой железной трубки по каплям падала вода».

В книге будущего декабриста И. М. Муравьева-Апо-

* Видимо, одна из дочерей генерала Н. Н. Раевского.

стола «Путешествие по Тавриде» (Спб., 1823), прекрасно известной Пушкину, рассказывалось: «Странно очень, что все здешние жители непременно хотят, чтобы эта красавица была не грузинка, а полячка, именно какая-то Потоцкая, будто бы похищенная Керим-Гиреем. Сколько я ни спорил с ними, сколько ни уверял их, что предание сие не имеет никакого исторического основания и что во второй половине XVIII века не так легко было татарам похищать полячек, все доводы мои остались бесполезными: они стоят в одном: красавица была Потоцкая; и я другой причины упорству сему не нахожу, как разве приятное и справедливое мнение, что красота женская есть, так сказать, принадлежность рода Потоцких».

Исторической достоверности предания отказывался верить и польский писатель Эдмонд Хоецкий, утверждавший, что никогда ни одна Потоцкая не была похищена в ханский гарем.

Несмотря на основательность подобных сомнений, А. С. Пушкин художественно принял и романтически развил крымскую легенду о княжне Потоцкой:

Давно ль? И что же! Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;
Исчезли мирные забавы;
Уныли селы и дубравы,
И пышный замок опустел.
Тиха Мариина светлица...
В домово́й церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену,
Скупой наследник в замке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Пренебрегши точностью отдельного «случая», автор «Бахчисарайского фонтана» романтически выразил более широкую правду не только о татарской угрозе, на протяжении веков нависавшей над Польшей, но — и это главное — выразил художественную и нравственную правду о великой силе любви, которая не признает различий положений и национальностей. Не только содер-

жание образов, но и стиль романтического повествования автора о польке-пленнице таит в себе психологическую «оправданность» сюжета, порывов сильной натуры хана Гирея.

Весь характер, все особенности описания невольницы ханского гарема естественно и изящно завершаются лирическим авторским признанием:

Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне

Образ Марии, написанный Пушкиным, всегда удивлял* и удивляет сегодня польского читателя проникновенностью художественной интуиции поэта, который постиг характер героини-польки настолько верно, что он органически вошел в галерею женских типов, созданных в польской литературе. Современный польский пушкиновед Мариан Топоровский в своей книге о Пушкине писал, что «можно удивляться поэтической интуиции поэта; идеализированный образ Марии превосходно умещается в традиционной галерее польских женских типов. Кто знает, может быть, характер героини инспирировал образ Марии у Мальчевского».

Другой и, по-видимому, важнейшей причиной, побудившей А. С. Пушкина оставить стихотворение «Графу Олизару» незаконченным, были события 14 декабря 1825 года и их неисчислимы последствия. Хотя поэт еще до 1825 года расстался со своими друзьями на юге, сменив южную ссылку на одинокое заточение в Михайловском, но он живо интересовался всеми своими друзьями, товарищами и просто знакомыми, кто был привлечен к следствию по делу 14 декабря.

После 1825 года А. С. Пушкину образ польского «певца», намеченный в черновом наброске стихотворе-

* Образ Марии и мотивы, связанные с историей Польши, заметно усиливали интерес польского общества к поэме «Бахчисарайский фонтан». В отличие от других южных поэм А. С. Пушкина это произведение уже при жизни поэта имело три издания в переводе на польский язык (в 1826 г. в Вильно в переводе Адама Рогальского; в 1828 г. в Варшаве в переводе Жабы Наполеона Фелякса; в 1834 г. в Варшаве в переводе Адольфа Витковского).

ния, мог казаться очень неполным. Если это так, а это, очевидно, так, то о каких декабристских связях Густава Олизара более или менее полно мог знать А. С. Пушкин?

Декабристские связи Густава Олизара

Связи Густава Олизара с движением декабристов несомненны, особенно, когда мы сегодня внимательно вчитываемся в олизаровские малоизвестные мемуары и некоторые его неопубликованные поэтические произведения.

Написанные в Дрездене на склоне лет «Воспоминания. 1798—1865 гг.» только однажды были опубликованы на польском языке во Львове в 1892 году.

В 1893 году в журнале «Русский вестник» в августовском и сентябрьском номерах появилась большая статья-рецензия А. Ф. Копылова, который приводил некоторые цитаты из мемуарного труда Густава Олизара и тенденциозно характеризовал последнего как одного из носителей «иезуитской морали» и «притворства».

Для нашей же современности эти непереводившиеся на русский язык малоизвестные мемуары интересны как еще один факт сближения польской патриотической образованности с движением декабристов.

Одна из лучших семей передовой русской интеллигенции — семья генерала Н. Н. Раевского, оказала большое и благотворное влияние на духовную жизнь и поэтическое творчество Густава Олизара. В членах этой семьи, как признавался польский поэт, он находил все, о чем только может мечтать мыслящий человек! В отце — учтивость и благородство старого воина; в матери и дочерях — разумность, воспитанность, высокую любезность. Третья дочь Н. Н. Раевского, Мария, почти на глазах Густава Олизара превратилась из худощавой, несколько нескладной девочки-подростка в красавицу-невесту, внешность и тонкая духовность которой приводили польского поэта в состояние влюбленной восхищенности и рождали в нем намерения просить ее руки. Темные глаза, черные брови, пышные волосы и длинные ресницы Марии Раевской, ее высокая интеллигентность казались Олизару редчайшим сокровищем мироздания. Гордясь своей отдаленностью от тех поляков, которые безоговорочно являлись верноподданными Александра I и заботились лишь о собственной карь-

ере, Густав Олизар даже в намерении просить руки Марии Раевской считал нужным заручиться нравственной поддержкой таких наиболее авторитетных представителей польской патриотической общественности, как генерал Князевич и поэт-патриот, автор знаменитых исторических песен, Юлиан Немцевич. Посредником в своем сватовстве к Марии Раевской Олизар избрал ее отца. До конца жизни польский поэт хранил очень вежливое, очень доброжелательное ответное письмо генерала Н. Н. Раевского, который на французском языке в стиле несколько старомодно-инверсионном изложил дружеский, но решительный отказ в руке дочери. Н. Н. Раевский ссылаясь при этом на различие религиозных, национальных и бытовых воззрений и привычек. Это письмо Густав Олизар в своих воспоминаниях привел целиком как свидетельство глубоко дружеских чувств, сохранившихся, несмотря ни на что.

Полное цитирование письма Н. Н. Раевского мемуарист завершал признанием, что он, как смертоносным копьем, был пронзен этим письмом. Однако прикованный узами дружбы к семье, с которой сжился, он навсегда сохранил в отношении к ней самые глубокие чувства вечной памяти взаимного доброжелательства, несмотря на личные несчастья и смерть некоторых ее членов, навсегда разделивших их.

«Любовное изгнание» или, как еще говорил Олизар, «последний творческий взлет романтизма молодости» он уединенно переживал в своем имении, которое разбил на случайно приобретенном участке земли у подножия горы Аю-Даг. Он даже именовал свое имение старинным греческим выражением Кардетрикон, от двух слов, означающих сердце и лекарство.

Оглядываясь на прожитое и как бы вторично переживая свою романтико-поэтическую эпоху, связанную с любовью к Марии Раевской, Густав Олизар писал в воспоминаниях о том, что именно эта большая любовь помимо его воли удержала некоторых соотечественников и русских друзей от того, чтобы привлечь его к активной деятельности в тайных обществах будущих декабристов. Страницы этих воспоминаний настолько мало известны польскому читателю и почти неизвестны русскому, что есть смысл несколько остановиться на них. И здесь хотелось бы начать с воспоминания Густа-

ва Олизара о том, как, при каких обстоятельствах впервые «рассердился» на него царь Александр I.

В 1821—22 годах, когда Густав Олизар являлся предводителем дворянства в Киевской губернии, там неожиданно появился присланный из Петербурга жандармский генерал Гертель. Он был прислан, как вспоминал Олизар, в целях политического шпионажа и наблюдения за впадавшим в немилость генералом Н. Н. Раевским. Зная обо всем этом, Густав Олизар не нанес как предводитель дворянства визита присланному высокому чину.

Обиженный таким нарушением служебной иерархии, названный Гертель, немец по национальности, выслал в Петербург секретное донесение, в котором сообщил свое дознание о том, что якобы губернский предводитель дворянства на недавних выборах произносил поджигательные польско-патриотические речи, угрожающие нарушением общественного спокойствия. Вследствие этого доноса Александр I не захотел принять Густава Олизара, когда последний прибыл в Петербург, чтобы, как было положено, представиться царю как вновь избранный предводитель дворянства Киевской губернии. Старший адъютант царя Петр Волконский сообщил, что государь не желает, чтобы Густав Олизар был представлен ни ему, государю, и вообще никому из членов царской семьи. На вопрос «почему?» князь Петр Волконский сообщил, что царское величество на этот раз оставляет дело без иных последствий, но предупреждает, если бы такое продолжалось далее, то Олизар может ожидать самых плохих последствий.

Трудно сказать, какие крамольно-патриотические высказывания допускал Густав Олизар в дворянском собрании, о которых сообщал в Петербург присланный жандармский чин, но в одном он был прав — Олизар разделял взгляды и намерения членов русских и польских тайных политических обществ, образовавшихся в России и Польше в последние годы царствования Александра I.

В своих мемуарах Густав Олизар рассказывал, что в 1822 году, когда всякая, даже половинчатая, конституционность, сперва было предоставленная Королевству Польскому, грубо попиралась наместником, великим князем Константином и царским комиссаром Новосильцевым, когда равнодушие и мистицизм Александра I

отда и управление государством в руки Аракчееву и Клейнмихелю, тогда тайные общества в России и Польше решили объединить свои силы.

«Русские заговорщики делились, — как писал Густав Олизар, — на два комитета: один северный, в столице, под руководством Рылеева, Краснокутского, князя Трубецкого; другой — западный, в Тульчине, под руководством Пестеля, князя Волконского и братьев Муравьевых-Апостолов. В польском союзе было только одно центральное правление — в Варшаве.

Киевский зимний съезд ежегодно собирал представителей из Королевства и из отдаленных губерний. Польским заговорщикам легче было договориться с западным русским комитетом, некоторые члены которого находились совсем поблизости, а другие всегда приезжали в Киев для таких встреч.

Мемуарист свидетельствовал, что первыми делегатами польского тайного общества, которым было поручено установить связи и договориться о единстве действий с тайными обществами в России, были князь Яблоновский и полковник Кржижановский. Они совещались с П. И. Пестелем, С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым. Во время переговоров обсуждался, в частности, проект убийства в Варшаве великого князя Константина в то время, когда в России будут физически истребляться все члены царской семьи.

В итоге переговоров пришли к решению, что польские делегаты обязались в случае русской революции задержать великого князя в Варшаве и лишить его всякой возможности выступать в роли претендента на трон.

В 1823 году, вспоминал Густав Олизар, все это было обусловлено особым контрактом, но тогда он об этом ничего не знал. Мемуарист назвал ряд причин своего первоначального неведения. Польские делегаты воздержались сразу же посвятить его в тайну, принимая в расчет его «чувства к россиянке» и то, что его дом, дом предводителя дворянства, был широко открыт. Кроме того, как отмечал мемуарист, Антоний Яблоновский не симпатизировал Олизару.

Русские друзья первоначально тоже воздержались посвятить Густава Олизара в тайну заговора, потому что учитывали его состояние влюбленности. Как вспоминал Густав Олизар, «замечательнейший из них по уму и чувствам Сергей Муравьев-Апостол так сердечно

любил меня, что больше был озабочен болью моего сердца, чем будущей моей политической карьерой».

Хотя по ряду причин польский поэт не был сразу посвящен в тайну соглашения, заключенного между польским и русскими обществами, но тем не менее члену польского тайного общества Атаназию Гродецкому, служившему в Киевском губернском суде, было поручено в случае какой-либо крайней ситуации посвятить Густава Олизара в конспиративную договоренность и планы. Поэт всегда живо и благодарно помнил Гродецкого, который удержал его от выезда за пределы России в час боли и смятения чувств, предшествовавших бракосочетанию Марии Николаевны Раевской с Сергеем Григорьевичем Волконским. Обо всем этом Густав Олизар в мемуарах рассказывал, что Гродецкий, видя его, готового в состоянии отчаяния отправиться на несколько лет в путешествие на Восток через Крым, Кавказ, Персию, вплоть до Индии, пришел накануне предполагавшегося отъезда из Киева и с искренней дружбой сказал:

— Езжай, я сам был бы рад как можно скорее видеть себя уехавшим, но не так далеко, как ты намереваешься и не на такой долгий срок!

— Почему? — спрашиваю, — коли расстояние и время должны меня излечить, коли в теперешнем состоянии моей души два этих средства так нужны мне в большой дозе?

Он ответил на это:

— В отъезде укрепи себя для дела, которое единственно является тем, что может тебя исцелить. — Здесь-то он и посвятил меня в планы наших заговорщиков и в их связи с русскими заговорщиками, рассказал о поручениях, которые ему были даны в отношении к моей особе. Каким благородным и каким гуманным был поступок Гродецкого. Никто в жизни так метко и сильно меня не поддерживал, не укреплял. Я крепко пожал его руку. Я не мог тогда предвидеть, что это последнее прощание с человеком, тюремное заключение которого, терпение и смерть причислили его к числу тех жертв, которые были большой потерей для нашей страны! Что за несгибаемый характер при мягкости и простоте общения! Что за упорство в работе, прилежность в выполнении своих обязанностей при слабом здоровье, которое никогда, однако, не вызывало какой-либо нетер-

пимости, нервозности. А несколько лет спустя, когда нас сблизили в общем заточении сырые стены подземных казематов петербургской крепости, жестокая судьба уже не позволила мне ни взглянуть на друга моего, ни обнять его перед вечным расставанием земным. Пусть же несколько этих слов будут знаком чести и уважения не только от меня и еще живущих сотоварищей мук наших, но и от всех соотечественников, будут памятью об этой прекрасной душе, будут памятью о спочивающем у бога Атаназии Гродецком! Пока искра любви к родине тлеет в польских сердцах, о нем будут помнить и грядущие поколения родины нашей!!

Мы не знаем, что именно делал Густав Олизар в 1823—1825 годах, после того, как был посвящен в тайну декабристских обществ и их контактов с польскими заговорщиками, какие конкретно поручения он выполнял. В воспоминаниях Густав Олизар обстоятельно описывал лишь свои действия, поведение, имевшими главной целью помочь декабристам или избежать ареста, или возможно больше умалчивать об их деятельности и связях.

Для Густава Олизара политические события 1825 года начались с происшествия почти комического. За несколько недель до своей смерти царь Александр I со свитой проезжал мимо крымского имения Олизара, направляясь в Гурзуф к наместнику края, графу С. М. Воронцову. Произошла довольно нелепая сцена. Царь проезжал среди бела дня, а стены и въездная арка олизаровской усадьбы были иллюминированы. Проезд царя предполагался вечером, и Густав Олизар, выполняя настоятельную просьбу наместника, дал указание управляющему имением зажечь светильники, как только покажется царская кавалькада. Сам Густав Олизар предпочел на глаза царю не показываться, помня петербургский отказ Александра I принять и повеление никому из членов царской фамилии его не представлять. Таким образом, все связанное с оказанием знаков приветствий проезжавшему царю Густав Олизар оставил на усмотрение управляющего имением. Последний же исполнил полученное указание буквально: он зажег иллюминацию, несмотря на то, что царь появился среди бела дня, а не вечером, как ожидалось. Такой нелепостью Александр I был тем не менее приятно удивлен и по прибытии в Гурзуф его первыми словами, сказан-

ными графу Воронцову по-французски, были: «Никто так меня не приветствовал в вашем крае, как граф Олизар. Скажите ему, что все, произошедшее между нами, забыто и что на следующий год я приеду его повидать в его поместье».

Однако на следующий год Александр I не приехал — через несколько недель он умер в Таганроге. Полуденная иллюминация оказалась мрачным прологом погребального великолепия.

Немедленно по смерти Александра I Густав Олизар получил в своем крымском имении приказ из Таганрога от наместника края графа Воронцова о том, чтобы Олизар поспешил принести присягу наследнику трона Константину. Спустя несколько дней Олизар, имея при себе дорожную, в которой говорилось о выезде для принесения присяги новому царю Константину, выехал из Крыма в город Коростешов. Дорожная, в которой говорилось о присяге новому царю Константину, вскоре оказалась документом, подлежащим изъятию и была конфискована следственной комиссией при аресте Густава Олизара и его бумаг.

**Густав Олизар и
14 декабря 1825**

О трагедии 14 декабря Густав Олизар узнал от М. П. Бестужева-Рюмина.

Однажды в своем доме в Коростешове во время обеда Густав Олизар услышал звук дорожного колокольчика, и с подкативших к подъезду легких санок соскочил офицер с пистолетами и саблей. Прислуга не хотела было впускать без доклада, но хозяин дома узнал в прибывшем М. П. Бестужева-Рюмина и радушно сразу же пригласил к столу согреться горячим супом. М. П. Бестужев-Рюмин сделал это очень охотно и с еще большей непосредственностью попросил немедленно дать ему лошадь, чтобы кратчайшей дорогой мчаться в Любар в целях спасения своего и спасения своего друга С. И. Муравьева-Апостола. За столом он вкратце поведал о событиях 1 (14) декабря в Петербурге, о восстании заговорщиков, смерти Милорадовича, неудаче всей попытки переворота, измене полковника Якубовича, аресте Пестеля, трусости князя Трубецкого, которого схватили и увезли в заключение из дома его шурина, словом, о победе Николая, провозгласившего себя царем. Рассказал также о захвате списка всех заговорщиков и

прибытии в Васильков фельдъегеря для ареста Муравьева и о том, как он, Бестужев-Рюмин, оказавшись по дороге в отпуск в Василькове, успел, не теряя времени, покинуть квартиру своего приятеля, так как его там могли арестовать. Быстро добавил еще, что заезжал в Радомысль уведомить полковника Алексопольского полка Поваля-Швейковского о том, что все потеряно и единичными вылазками спастись тщетно. Оставалась только единственная надежда на восстание в провинции, которое может поправить то, что не удалось в столице.

С этой-то целью он и спешил к Сергею Муравьеву-Апостолу в надежде поднять открытый бунт в полку, где он командует верным ему батальоном. Другие полки, командиры которых являются членами тайного общества, присоединятся к первым. Артиллерия в Житомире будет Швейковским обо всем предупреждена. Единственно таким способом оставалась некоторая надежда спасти страну и ее подлинных защитников.

Эти огкровения М. П. Бестужева-Рюмина с болью были восприняты Олизаром, и он не стал задерживать Бестужева. Не имея еще собственной конюшни в Коростешове, Олизар приказал нанять в местечке ямщицкую тройку до Бердичева и спустя час провожал гостя в дальнейший не очень счастливый путь.

По следам М. П. Бестужева-Рюмина уже мчался жандармский офицер с солдатами, который той же ночью объявил Густаву Олизару о том, что имеет приказ именем царя схватить Бестужева живого или мертвого. Олизар заверил, что М. П. Бестужев-Рюмин у него был, обедал, но выехал. Тогда жандарм сказал, что обязан сделать во всем доме тщательный обыск.

Стараясь как можно дольше задержать погоню, Олизар втянул офицера в разговор.

Изобразив некоторую обиженность недоверием, он с наивной горечью заметил, что, впрочем, его не удивляет, что новый царь и слуги его не верят учтивому слову. Однако время покажет — кто «за», а кто «против» правления царя Константина!

Такой крамольной наивности, сопровождавшейся показом подорожной и сообщением о присяге, уже принесенной царю Константину, оказалось вполне достаточно для того, чтобы жандармский офицер начал просвещать. Видя удивление и удачно разыгранное любопыт-

ство, офицер стал рассказывать о событиях в Петербурге.

Вместе пожалели Милорадовича, который, действительно, был достоин смерти лучшей, чем от пули соотечественников. Вместе подивились мужеству царя и тому, как николаевский взгляд воздействовал на разбушвавшиеся толпы и на заговорщиков и что поэтому Якубович, несколько раз приближавшийся к императору с преступным намерением, из убийцы превратился почти в его прислужника.

За такой беседой с жандармом уплывало время и отдаляло Рюмина от той опасности, которая могла настичь его в олизаровском доме.

Наконец жандармский полковник попросил лошадей. Густав Олизар объяснил, что, долгое время не живя в Коростешове, своих лошадей здесь еще не имеет, но прикажет нанять таковых.

Отданный слуге приказ был так хорошо понят, что лишь через полтора часа появилась кибитка, запряженная тремя хромыми лошадьми, напятами у каких-то местечковых евреев.

Несколько успокоенный за Рюмина, Густав Олизар решил все же выехать в Киев, чтобы быть на глазах высшей власти, которая бывает более осмотрительной, нежели полицейские бурбоны в провинции.

По дороге в Киев, вспоминал мемуарист, он еще раз содействовал тому, чтобы М. П. Бестужев-Рюмин доскакал до взбунтовавшегося батальона Черниговского полка, во главе которого стоял С. И. Муравьев-Апостол.

Даже в конце своей жизни мемуарист живо помнил и картинно описывал марш черниговцев, возглавленных С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым.

Польский мемуарист рассказывал, что черниговцы, быстро овладев городком Васильков, господствовали в нем 24 часа. С. И. Муравьев-Апостол приказал священникам в двух церквях совершать обряд присяги Конституции и тому правительству, которое будет установлено.

Постепенно стягивались войска на окружение неполного двухтысячного отряда С. И. Муравьева-Апостола.

В надежде на то, что некоторые воинские части присоединятся к восставшим, что артиллерия не будет стрелять по своим братьям, С. И. Муравьев-Апостол об-

ратился к своим солдатам с воззванием. В этом воззвании говорилось, что все войска, которые будут высланы против них, соединятся с ними и что солдаты могут прямо идти на пушки, так как орудия будут стрелять в воздух. В случае, если бы благодаря измене, войска вдруг повернулись против восставших и стали бы действительно стрелять в своих, он, С. И. Муравьев-Апостол, не желая иметь на своей совести пролитие братской крови, освобождает своих солдат от повиновения и позволяет им или разойтись, или сложить оружие. Он сам, и только один, будет отвечать за все и за всех!

К сожалению, солдаты дословно приняли воззвание своего начальника. Когда при первом столкновении при деревне Трилесе артиллерия, которой уже командовал какой-то немец, сразу же захватив возвышенности, прицельно ударила картечью по муравьевским рядам, все пошло врассыпную. Сам Муравьев, тяжело раненный картечью, упал на землю; его младший брат Ипполит, стоявший рядом с ним, был убит; Бестужев-Рюмин схвачен. Так битва за освобождение России продолжалась полчасика, после которой наступило 29-летнее царствование Николая, напоминавшее, насколько позволял век, «прелести» скуратовщины.

В Киеве в декабре и январе Густав Олизар был очевидцем начавшихся многочисленных арестов русских и польских членов тайных обществ и лиц, имевших с ними связь.

Были арестованы и вывезены из Киева декабристы В. Л. Давыдов, А. В. Поджио, В. В. Капнист. Из поляков по «делу 14 декабря» первым был арестован и с фельдъегерем отправлен в Петербург князь Антоний Яблоновский, о заслугах которого Густав Олизар вспоминал несколько скептически.

Почти на глазах Олизара были арестованы полковник граф Марциан Тарновский, бывший дворянский предводитель на Волыни Петр Мошинский и упоминавшийся выше Гродецкий.

После 10 января 1826 года аресты в Киеве настолько участились, что люди из окружения Олизара, встречаясь, прежде всего говорили: «Ты еще здесь?»

В полдень 15 января 1826 года в своем доме был арестован и Густав Олизар. На третьи сутки в третьем часу ночи он с фельдъегерем был доставлен в Петербург. Передаваемый под стражей из одного тюремного

помещения в другое, Густав Олизар имел возможность мельком увидеть В. Л. Давыдова, А. В. Поджио и обменяться с ними несколькими приветственными словами, сказанными по-французски.

**Густав Олизар в
Петропавловской крепости**

Для Олизара, как и для многих других лиц, арестованных и доставленных в Петербург,

дорога в рavelины Петропавловской крепости пролегла через царские покои Зимнего дворца.

Вечером 18 января 1826 года Густаву Олизару, находившемуся в камере предварительного заключения, велено было одеться во фрак, и он был препровожден в покои государя и введен в богатый огромный кабинет, уставленный книгами, глобусами и увешанный различными картами. Там стояло несколько длинных столов, покрытых темно-зеленым сукном. На них лежали какие-то книги и бумаги. Около камина, в котором горел небольшой огонь, стояли маленький столик и несколько позолоченных кресел, обитых шелком. В одном из них сидел дежурный генерал-адъютант, которым в тот день был граф В. В. Левашов. Подальше от камина на той же стене висела шелковая темно-зеленая портьера, прикрывавшая дверь в личную комнату государя.

Лишь только Олизар был введен в кабинет, генерал-адъютант жестом приказал остановиться, а сам скрылся за портьерой, видимо, спрашивая, будет ли государь лично допрашивать доставленного или поручит это ему.

Вернувшись недовольным, он уселся в кресло и начал задавать вопросы оставшемуся стоять Олизару с такой миной, будто увидел его впервые, хотя несколько лет назад они встречались в Петербурге в различных местах и компаниях. Поэтому Густав Олизар сказал Левашову, что не будет отвечать прежде, чем последний не перестанет принимать его за какого-то незнакомца:

— Пока Вы не убедитесь, что я не достоин быть Вам знакомым, Вы могли бы относиться ко мне по-прежнему и не обращаться со мной, как с каким-то уличным преступником.

Не лишенный личной порядочности, как вспоминал Олизар, В. В. Левашов оглянулся и пригласил сесть. Первым его вопросом был вопрос — знает ли Олизар князя Ш.блоновского?

Обладая несомненным умением и даже мастерством

непринужденно, находчиво, остроумно и внешне неизменно учтиво и даже изящно вести диалог с представителями властей самых различных рангов, начиная от исправников и полицеймейстеров и кончая самыми именитыми членами государственных следственных комиссий по делу декабристов, Густав Олизар на этом первом допросе, происходившем частично по-французски, на вопрос Левашова о Яблоновском ответил в свою очередь наивным вопросом:

— Которого?.. Ведь их много.

И здесь же Олизар назвал князя Кароля Яблоновского из Острога, князя Максимилиана Яблоновского, о которых наверняка знал, что они не могли быть как-то скомпрометированы какими-либо связями с декабристами.

Обменявшись с Левашовым парой фраз по-французски, уточнивших, что речь идет о князе Антонии Яблоновском, главе тайного общества в Варшаве, Густав Олизар заявил, что он имел с ним лишь «шапочное» знакомство, что последний бывал у него раз или два, как и он у Яблоновского. Более близких отношений между ними не было, «так как, — сказал Олизар, — меня пугал и оскорблял склад его ума».

Диалог продолжался:

— Может быть, в Вашем доме, — спрашивал Левашов, — названный князь Яблоновский имел совещания с Муравьевым и Пестелем?

— С Муравьевым, может быть, они и вели важные беседы за столом, когда я несколько раз приглашал их к себе. С Пестелем же, я в этом убежден, — он у меня не встречался, так как в своем доме Пестеля я никогда не видел.

После еще нескольких вопросов о Петре Мошинском, о Кржижановском, от которых Олизар прикрылся полным неведением, Левашов зашел за портьеру к царю, которому, видимо, сказал, что узнал немного, а возвратившись, объявил, что арестованного отвезут в Петропавловскую крепость.

— За что же? — спросил Олизар.

— Для того, чтобы Вам было легче опровергнуть показания свидетелей, которые совсем иначе говорят о Вашей «невиновности».

В тот же день 18.1.1826 г. Густав Олизар был доставлен в Петропавловскую крепость и помещен в оди-

ночную камеру под номером двенадцать в Никольской куртине. Соседями, занимавшими камеры справа и слева, были Булатов, отчаянно кричавший от воспаления мозга, и Андреев, который прекрасным тенором пел шуточные песенки.

Булатова через пару дней переправили в лазарет, где он умер. Андреев продолжал петь. Внимательно вслушавшись в то, что пел Андреев, в частности, в кантаты то итальянские, то французские, Олизар понял, что это своеобразные разговоры, которые умышленно допускались охраной, в целях подслушивания заключенных.

Напротив камеры Олизара оказалась камера, в которой был заточен М. П. Бестужев-Рюмин. Это обнаружилось благодаря лопнувшей обогревательной печной трубе, которая проходила через все камеры. Когда повалил едкий душащий дым, все узники стали стучать в двери, прося свежего воздуха. Когда служители стали открывать двери камер, тогда-то Олизару и удалось в последний раз увидеть М. П. Бестужева-Рюмина, который воскликнул по-французски:

— Как? И Вы здесь?

Прошло двадцать с лишним дней, как Олизар сидел в своей камере, но никто ни о чем не допрашивал. У заключенного возникло опасение, что правительство ожидает лишь весеннего разлива Невы, который zalьет подземные казематы Петропавловской крепости и все узники будут утоплены. Одиночество, неизвестность, бездействие Олизар переносил болезненно и сопротивлялся всему этому так:

«...Тоска — страшнейшее мучение каждого узника; ...Нам не давали ни книжек, ни каких-либо материалов для какого-либо рукодельного занятия. Меня спасали поэтические думы и еще фантастическая в прошлом любовь. Не имея ни бумаги, ни пера, ни карандаша, я должен был импровизировать рифмы. Хотя это делалось трудно и продолжительно, но было чем заполнить половину дня. Нахожу в одной из моих папок дату и отрывок подобной мысленной композиции или устной импровизации, которую позднее записал по памяти, но в связи с опасениями новых преследований уничтожил*.

* Там содержалось «Воспоминание, описывавшее разговоры узников» — примеч. Густава Олизара.

Было то 28-го февраля и начиналась та композиция такой строфой:

Уже раннее солнце людям засветило,
Уже слышал я тяжелый топот
Стражи ненавистной. Слабее тлеет,
Как предрасветный отблеск, лампа у меня...
Взновитесь вы, свободные душой.
Взновитесь и надежды ваши,
Ищите счастья, славы и любви... Однако же пока
Бег времени для вас и для меня
День новый начинает — страданий день
И день отчаянья, тоски...

Я прислушивался к разговорам моих соседей. Бестужев*, например, своим неровным голосом пел для сидевшего, по-видимому, рядом с ним Муравьева**, а когда увидел напротив меня, то обращал декламацию ко мне. Вначале, полный еще политического прозелетизма, он хотел обратиться в свою веру того попа, который ходил по камерам с целью склонить узников к раскаянию, к исповедям и благодаря тому к скорейшему признанию виновности. Я слышал, как Бестужев-Рюмин распевал: — Он больше не за деспотизм, он уже не монархист!

Позднее, когда телесные муки ослабили дух его, и он начинал предчувствовать свой печальный конец, тогда он пел для меня: «Царизм удержится долго. Вы избежите смерти, Вы будете освобождены, мне же уготовлено одно — позорная казнь. Печально, что царь заставит поколение перешагнуть через то, что он сделает с нами. Бедная Россия. Одно сделайте, когда будете на свободе. Постарайтесь исполнить мое последнее желание — насыпьте холмик, как на могиле Аскольда и Кия. Это будет как бы моя постоянная дума о счастье моей Отчизны».

Бог мне свидетель, я не имел возможности исполнить эту последнюю волю моего товарища-узника, но я записываю это для памяти, чтобы, может, кто-либо из семьи покойного, или какой русский патриот в неизвестном году свободы своей страны знал, на каком месте поставить памятник, который бы действительно порадовал тени тех первых мучеников русского народа, особенно Бестужева и Сергея Муравьева».

* М. П. Бестужев-Рюмин. — А. К.

** С. И. Муравьев-Апостол. — А. К.

О высокой мученической судьбе Бестужева-Рюмина и Сергея Муравьева-Апостола, в числе пяти рыцарей свободы повешенных Николаем I, Густав Олизар помнил всегда, и эта память укрепляла дух его.

За недоказанностью причастности к заговору Густав Олизар после двухмесячного заключения был освобожден. Однако по дороге на юг, проезжая через Орел, он в орловских окрестностях потерял чемодан, прикрепившийся сзади кареты. Кем-то подобранный злополучный багаж был доставлен в полицейское управление. Так как из Орла все эти бумаги были отосланы в Киев, то там Густав Олизар был арестован вторично. Сначала он содержался в Киевской тюрьме, а потом был переправлен в тюрьму в Варшаву и там был подвергнут новым дознаниям в другой следственной комиссии по делу декабристов.

Так, если до нас через многие десятилетия доходят сведения о декабристских связях Густава Олизара, то можно ли сомневаться в том, что А. С. Пушкин о своем польском знакомом знал и слышал больше нас. И это побуждало оставить стихотворение «Графу Олизару» неоконченным.

М. Н. Раевская — княгиня Волконская — источник творческого вдохновения А. С. Пушкина и Г. Олизара

Значение личности М. Н. Раевской — княгини Волконской в жизни и творчестве А. С. Пушкина и Густава Олизара

далеко превзошло те строчки о «деве молодой»*, которые содержались в наброске стихотворения «Графу Олизару». Она оказалась первой русской женщиной, которая из уст поэта услышала 26 декабря 1826 года в салоне Зинаиды Волконской стихотворение «Во глубине сибирских руд». И тогда ей же А. С. Пушкин сказал на дальнюю сибирскую дорогу и многие годы изгнания: «Вы, пожалуй, не поверите мне, если я скажу, что завидую вам, княгиня. Впереди вас ждет жизнь, полная лишений, но и полная самопожертвования, подвига. Вы будете жить среди лучших людей нашего времени, тогда как мы...»

* И наша дева молодая,
Привлекши сердце поляка,
Отвергнет, гордостью пылая,
Любовь народного врага.

Всегда сердечно помня М. Н. Раевскую-Волконскую и преклоняясь перед ее подвигом, А. С. Пушкин в эпитафии ее сыну-младенцу кн. Н. С. Волконскому высказал заветную мысль о том, что декабрист С. Г. Волконский и его героическая жена достойны небесных благословений и молитв:

В сиянии и в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Стихи о Марии Раевской, написанные А. С. Пушкиным на юге в первой главе «Евгения Онегина», после 1825 года и для самого поэта вряд ли не стали важнее своим не прямым, а переносным значением. Они обрели огромный подтекст, во многом близкий к строкам из поэмы «Полтава», без наименования обращенным к Марии Николаевне:

Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

Густав Олизар объективно сближался с А. С. Пушкиным тем, что в его поэтическом творчестве, при всем различии талантов, гениального и обыкновенного, личность Марии Раевской — княгини М. Н. Волконской все чаще становилась жизненным источником высокого поэтического вдохновения.

**Неопубликованные
«Крымские произведения»
Густава Олизара, созданные
в 1823—1829 годы**

20-е годы XIX века в жизни Густава Олизара были годами не только значительных событий, политических разду-

мий и переживаний, связанных с польским национально-освободительным движением и с восстанием декабристов. Эти годы характеризуются также многосторонними литературно-творческими занятиями. Из них особенный интерес представляют неопубликованные произведения, созданные в Крыму в 1823—1829 годы, которые ныне под номером 5900 хранятся в Кракове в рукопис-

ном отделе Ягеллонской библиотеки. Автору этих строк посчастливилось не только держать в руках эти рукописи, но и сделать ксерокопии следующих произведений, а потом прочесть и перевести их с польского на русский:

1. Письмо Густава Олизара к поэту Людвигу Кропиньскому. Это произведение в жанре стихотворного послания было создано, как помечено Густавом Олизаром. 14 июля 1829 года. Пожалуй, самым интересным мотивом этого произведения является насмешка над графоманией варшавских классиков, что перекликалось со статьей Адама Мицкевича «О критиках и рецензентах варшавских».

2. «Сэтыр. Чеченская повесть, историческая». На автографе помечено по-польски: «Писал на Кавказских водах 15 июля 1824». В предисловии «К читателю» автор сообщал, что «мысль о создании этой повести дало мне то, что я увидел в доме полковника Раевского* воспитывавшегося у него сироту по имени Сэтыр, родом чеченца, который был подобран на улице одного аула...»

В том же предисловии Густав Олизар писал, что историю этого Сэтыра ему рассказал сам полковник Н. Н. Раевский. От себя поэт там же замечал, что при всем «московском воспитании» Сэтыр, несмотря ни на что, сохранил чувство долга по отношению к отчизне. Далее Олизар говорил, что такое же нравственное качество часто обнаруживалось как у чеченцев, так и у поляков.

Произведение проникнуто пафосом непобедимого, неискоренимого чувства родины и свободолюбия, под влиянием которого Сэтыр силой освобождается из плена, используя кандалы как оружие, и бежит в родные горы и аул.

Подошедший русский военный отряд пытается заставить жителей аула, где укрылся бежавший Сэтыр, выдать беглеца, которому вновь грозит неволя:

Вновь Орел двуглавый
Крылья черные раскинул.
Или сдаться, или смерть —
Осажденным предложили,
И два пушечных залпа
То условие подтвердили.

* Сын генерала Раевского.

Старшина аула отказывается выдать соплеменника. Развязка повести — апофеоз народу, который выше всего чтит свободу и готов отстаивать ее до конца. Начальник военного отряда, осененный славой русского оружия против наполеоновского нашествия, склонился перед свободолюбием горцев:

Никогда не обагрится
Безоружных кровью
Обнаженный русский меч.

Историческая повесть «Сэтыр» по своему содержанию своеобразно перекликалась с пушкинской поэтизацией свободолюбия горцев в поэме «Кавказский пленник» и с позднейшей поэмой М. Ю. Лермонтова «Мцыри».

**Основной смысл поэмы
«Святыня Боли» и
Мария Раевская как одна
из главных
жизненных моделей
поэтических произведений
Густава Олизара**

В крымском уединении Густав Олизар свою любовь к Марии Раевской и боль отверженности хранил как свою святыню, о чем хорошо было известно и А. С. Пушкину и Адаму Мицкевичу. Последний не только навестил «отшельника и пустытника» в его имении у подошвы горы Аю-Даг, но и посвятил ему знаменитый крымский сонет «Аю-Даг».

Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.

* * *

Не омрачив твой мир, гроза отбушевала
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.

Густав Олизар не только поэтически ответил Мицкевичу, написав стихотворение, в котором говорилось о том, что все, даже море и татары, любят Адама. Любовь и боль Олизар переплавил в большой цикл поэтических произведений. Некоторые из них были опубликованы в Вильно в 1840 году.

Во многих опубликованных и неопубликованных поэтических произведениях Густава Олизара образ экс-Беатриче, жизненной моделью которой была Мария Ни-

колаевна Раевская и любовь поэта к ней, занимают одно из центральных мест в олизаровской поэзии и формируют во многом ту ее особенность, которую сам поэт определял словом «дантеизм».

В своих мемуарах Олизар писал: «...я должен признаться, что, если в моей душе сложилось что-либо высокое, благородное, поэтическое, то во всем этом я обязан любви, которую вдохнула в меня Мария Раевская, княгиня Волконская, ныне сибирская ссыльная в Нерчинске, прикованная к Сергею и разделяющая с мужем его суровую судьбу. Она была для меня той Беатричей, которой было посвящено все то дантевское, до чего смог возвыситься мой поэтический дух. Благодаря ей, а скорее благодаря любви к ней, я снискал сочувствие первейшего русского поэта-пророка* и дружбу нашего лауреата Адама. Его крымский сонет под заглавием «Аю-Даг» был посвящен мне и мосму любовному изгнанию».

Самым значительным проявлением поэтического дантеизма и была его вышеупомянутая поэма «Святых Боли», где наиболее органично переплелись боль и любовь к несчастной родине и несчастная любовь и боль сердца, отданного Амире-Беатриче.

Блестящий критик-большевик В. В. Воровский в своих двух статьях, написанных к столетию со дня рождения Зигмунта Красиньского, называл последнего «польским Данте», глубоко аргументировав мысль о внутренней близости между «Божественной комедией» великого флорентийца и «Небожественной комедией» польского поэта.

Обращая сопоставительные историко-литературные параллели, намеченные В. В. Воровским, к поэме «Святых Боли», мы имеем основания назвать Густава Олизара неизвестным польским Данте, о котором тоже можно сказать словами В. В. Воровского: «И тот и другой были несчастны в жизни и несчастны в любви: были женаты на чуждых им женщинах и всю жизнь любили идеальной любовью своих Беатриче».

* Густав Олизар имеет в виду А. С. Пушкина. Польский поэт вполне сознавал общность жизненной модели (Мария Раевская) в пушкинском и своем творчестве. Так, в мемуарах Густав Олизар замечал, что для Марии Раевской «русский поэт-пророк Пушкин написал свою прекрасную поэму под заглавием «Бахчисарайский фонтан».

Поэма «Святыня Боли» очень своеобразно подтверждает тезис, содержащийся в одной из лучших дантелогических монографий* о том, что «глубже, чем в других славянских странах (а быть может, и не только в славянских) было влияние Данте на польскую поэзию».

Восемьсот стихов поэмы «Святыня Боли» своим содержанием, композицией, прямыми признаниями автора подчеркнута следуют примеру создателя «Божественной комедии», наследуют традицию Данте. Поэма есть тоже созерцание и сопереживание поэтом, ведомого поводырем, мук и страданий, в картине которых Густав Олизар воплотил и свой лирический плач о Польше, потерявшей независимость, свою любовь и преданность несчастной родине, свой суд над предателями Отчизны, а также и свои муки несчастливой любви.

Даже в нашем переводе можно почувствовать волнующую образность этого плача:

Там, где солнце лучи скупые сеет,
Голые деревья светом одевая,
Где — нищета в хозяйстве мужика,
А в шляхтиче — надменность;
Где светлячком надежда то блеснет, а то угаснет,
Там, в Польше Святыню воздвигла Боль!
Прости, Отчизна,
Что чувств отчаяния
Я не таю
И из могилы тень Твою
Так часто вызываю!
На страшном Твоем погребенье не был,
И счастливой Тебя не знал.

Переплыв воды Стикса, герой поэмы входит в тюрьму-крепость, являющуюся «Святыней Боли», и там созерцает муки самых различных мучеников. При этом нарастает, усиливается патриотическая тема. Она вмещает и скорбный плач по разорванной Польше, и осуждение разрушителей ее, и презрение к тем полякам, которые предали, не защитили Отчизны. Все это переплетается с чувствами надежды на освобождение и возрождение Родины.

Встреча в потусторонних странствованиях с всеильной Богиней Печали открывает поэту картину и его мук несчастной любви к Амуре, образ которой, навеянный

* Голенищев-Кутузов И. Н. Творчество Данте и мировая культура. М., 1971.

личностью Марии Николаевны Расвской-Волконской, воспринимается как особая форма литературного сближения с образом Беатриче в «Божественной комедии» Данте.

Поэт-страдалец свое чувство любви к родине, свое гражданство ставит так же высоко, как и интимное чувство любви к Амуре. В его душе эти два чувства неразделимы, одно усиливает другое.

При всей романтической «неуловимости» образа Амиры в нем все же весьма ощутим сибирско-каторжный мотив. Амира — подвижница. Она в далеких северных снегах самоотверженно стремится спасти мужа и детей от злой доли. Образ Амиры (зашифрованное имя Мария) возвышается в глазах поэта до святости, до Богини, декабристской Богини:

В той дальней стороне,
Где северный огонь зари лишь светит,
Зима где — ночи дочь метет всегда снегами,
Там, где надежды подо льдами,
И умерли уж те, кого туда
Вторично послали умирать,
Амира стала там Богиней.
Когда неумолимая печаль
Мне сердце разрывала,
Когда душа любовь высокую
Как честь чистейшую познала,
Тогда воскликнул я невольно:
Амира! Боже, как несчастлив я!

Неопубликованная поэма Густава Олизара, написанная в 20-е годы XIX века, может считаться первой в польской литературе поэтизацией нравственного и революционно-гражданского подвига жен декабристов.

**Стихотворение
«Графу Олизару» не
было опубликовано,
но имело развитие**

Две важные идеи, входившие в замысел стихотворения «Графу Олизару» (идея исторически обусловленной сложности русско-польских отношений и идея искусства, сближающего народы) оказались эстетически воплощенными, **крупнее и ярче**, в других созданиях пушкинского гения. Художественная реализация первой идеи оказалась одной из сторон трагедии «Борис Годунов», а эстетическое воплощение другой идеи составило «сердцевину» творческого отражения дружбы с Адамом Мицкевичем.

**Трагедия
«Борис Годунов»**

В русском и мировом пушкиноведении уже немало написано в обоснование той глубоко справедливой мысли, что Пушкин-драматург формировался на строжайшие движения передовой историографической и эстетической мысли и опыта Европы, нередко опережая их. Становление Пушкина-драматурга совершалось на путях критического анализа и новаторского синтеза драматургических систем Мольера, Байрона, Шекспира.

Стремясь развить «законы драмы Шекспировой», Пушкин объектом своего внимания избирал многие трагедии, драмы, состояния человеческой души, обусловленные сложным и трудным «ходом» европейской истории, европейской цивилизации. Пушкинская концепция неразделимости и неотделимости России и ее отношений с Польшей от истории Европы вводила в круг реализованных и нереализованных драматургических замыслов наряду с «Маленькими трагедиями», «Папессой Иоанной», «Иисусом», «Ромулом и Ремом», «Беральдом Саувойским» замыслы драматургических произведений о Дмитрии и Марине, о князе Андрее Курбском. Историческая концепция, лежавшая и в основе трагедии «Борис Годунов», в общем-то имеет много точек соприкосновения с западно-европейской и польской литературой, не раз обращавшейся к художественному осознанию русской действительности конца XVI — начала XVII века.

В те, например, времена, когда Шекспир работал над «Гамлетом», в Московской Руси развертывалась трагедия Годунова, Федора, Дмитрия Самозванца, трагедия, над которой носился дух Ивана Грозного. Эта трагедия таила в себе много движений и тайн, загадок и страстей человеческого духа, достойных горной гряды мировой литературы.

В той или иной степени это (подобно автору «Бориса Годунова») ощущали, скажем, Шиллер, в 1804 году трудившийся над незаконченной драмой о Дмитрии и московских кровавых годах, классик польского романтизма Зигмунт Красинский — создатель исторической повести «Аги-Хан» (1831—1832).

В трагедии «Борис Годунов» художественное постижение и открытие роли народа и народного мнения в исторических судьбах национальной государственности потребовало такого масштабного трагического «уплот-

нения» эпохи, что она реалистически предстала в своих наивысших конфликтных столкновениях, в своих наиважнейших политических и нравственных стремлениях, которые складывались в океане различнейших страстей и тревог, надежд и опасений, чаяний и разочарований, насыщений и утрат человеческой души. В пушкинском великом гуманизме человеческая душа трактовалась как единая по природе своей у царя Бориса и юродивого Николки, у Гришки Отрепьева и Василия Шуйского, у царевича Федора и сына князя Андрея Курбского, у Марины Мнишек и Ксении Годуновой.

Власть царя и мнение народное — вот два полюса, между которыми волнуется и плещет океан человеческих судеб и страстей на Московской Руси в лихую смутную годину, которой попыталась воспользоваться польско-римская, королевско-католическая интервенция в интересах власти польских магнатов, шляхты, короля и папы Римского*.

Польская тема раскрывалась как переплетение истории России и Польши, обусловленное в те времена корыстными стремлениями не только самозванцев, короля и папы Римского, но также части бояр московских и магнатов польских.

Польская тема выступала в трагедии темой подчиненной в отношении к острейшему конфликту годуновского царствования и мнения народного, становилась (именно в силу своей подчиненности и производности) тоже одним из воплощений пушкинского гениального постижения страстей и глубин человеческой души, пушкинского гениального историзма.

Считая, что большие исторические и политические движения, события, столкновения вызывают к жизни характеры глубокие и сильные, Пушкин показал, что и драматизм русско-польских отношений был связан и выражался в поступках и страстях личностей значитель-

* Не только история, но и пушкинский «Борис Годунов» дали художнику Н. В. Невреву штрихи и краски для того, чтобы нарисовать картину «Признания Сигизмундом Лжедмитрия царевичем». Картина представляет момент, когда панский нунций Рангони вводит Лжедмитрия к королю Сигизмунду, и этот, последний, не публично, а частным образом признает Лжедмитрия царевичем. Картина была написана по заказу С. М. Третьякова и хранилась в Третьяковской галерее. Репродукция была опубликована во «Всемирной иллюстрации», 1878, 9 дек., № 519. С. 489.

ных не столько положением, сколько масштабностью натур. Образы Бориса Годунова, Самозванца, боярина Пушкина, вплоть до эпизодического образа молодого князя Курбского обнаруживали такое разнообразие мыслей, богатейшую палитру чувств, что эти образы поистине явились классическими вехами утверждения реалистически многомерного изображения человека в литературе. Характер Марины Мнишек оказался столь верным, сильным и глубоким в художественном выражении ее то гордой, то хитрой, то надменно высокомерной, то беспощадной, но всегда единой страсти к достижению престола московских царей, что даже классик польского романтизма Зигмунт Красинский в своей повести «Аги-Хан» (сам не зная того) объективно лишь подтвердил (если говорить об идейно-психологической сущности характера Марины Мнишек) пронизательность художественного постижения Пушкиным природы этой претендентки на русскую корону. Подтвердив полностью и верность пушкинского психологизма, Зигмунт Красинский как бы продолжил художественное исследование единой и роковой страсти Марины Мнишек в ее дальнейшей судьбе. Выдвинув в повести «Аги-Хан» историю Марины Мнишек, с которой семья магнатов Мнишек и король Сигизмунд III связывали большие фамильные и общешляхетские планы влияния на Московское государство, Красинский показал, как его героиня, побуждаемая той же роковой и единой страстью, после Самозванца I, стала женой Дмитрия Самозванца II. Когда в 1610 году второй Самозванец был убит на охоте татаринном Урасовым, то Марина Мнишек соединила свою судьбу с казацким атаманом Заруцким. Считая себя «царицей», она добивалась, опираясь на военную поддержку поляков и Заруцкого, возведения на московский престол своего малолетнего сына от второго мужа. После захвата Астрахани Заруцкий пал в бою, а Марина Мнишек была схвачена яицкими казаками и брошена под лед. Двухлетний сын ее был задушен*.

Строя на таком материале свою повесть, Зигмунт

* В действительности Иван Заруцкий и Марина Мнишек с сыном после падения Астрахани в 1614 году были схвачены и выданы посланцам царя Михаила Романова.

Иван Заруцкий был в Москве посажен на кол, четырехлетний сын Марины Мнишек повешен, а сама Марина погибла таинственной смертью в тюремном заключении в Коломне.

Красинский (если говорить об объективной сути художественного осознания личности Марины Мнишек) романтическими средствами подтвердил и заострил в изобретенных им исторических обстоятельствах то, что пушкинская Марина Мнишек уже сказала:

...сан дороже должен быть
Всех радостей, всех обольщений жизни,
Его ни с чем не можешь ты равнять.

Дмитрий, ты и быть иным не можешь;
Другого мне любить нельзя.

Есть еще одна крупная философская, историческая и художественная мысль, которая оказалась общей, свойственной трагедии А. С. Пушкина и повести Красинского — мысль о неотделимости и неразделимости трудной истории России от противоречивейших путей развития европейской цивилизации. В трагедии «Борис Годунов» эта мысль выражена не только судьбой Григория Отрепьева и Марины Мнишек, но и целым рядом второстепенных и эпизодических фигур и штрихов.

Вот, например, Самозванец спросит:

...Но кто, скажи мне, Пушкин,
Красавец сей?

Пушкин.

Князь Курбский.

Самозванец.

Имя громко!

(Курбскому)

Ты родственник казанскому герою?

Курбский

Я сын его.

Самозванец.

Он жив еще?

Курбский.

Нет, умер.

Самозванец.

О витязь мой! завидую тебе.

Сын Курбского, воспитанный в изгнание,

Забыв отцом снесенные обиды,

Его вину за гробом искупив,

Ты кровь излить за сына Иоанна

Готовишься...

В темах Древней Руси, Самозванца, Годунова, Петра I, 1812 и 1830—1831 годов А. С. Пушкин, художественно постигая национальную жизнь, показал, как под-

час драматически и кроваво выковывала история неотделимость России от судеб Европы и великую роль России в судьбах Европы.

В трагедии «Борис Годунов» чрезвычайно **идейно** и **исторично** то, что период конца XVI — начала XVII в. картинно и живо предстал как ожесточенная схватка различного оружия, как узел различных социальных, государственных и религиозных стремлений, как разногласие национальных языков. Неслучайно, что в широкий, полноводный и бесконечно многоцветный поток русской речи вклиниваются то наставление посланца Римского папы — иезуита с его «Святым Игнатием», то интонация магнатской и шляхетской похвалы, то изысканно галантный оборот польского кавалера, полагающего, что «видно, панна Мнишек с Дмитрием задержит нас в плену»; то сладкий глас польского поэта, в латинских стихах воспевающего Самозванца, тоже восклицаящего на латыни *Musa gloriam coronat, gloriae musam*. (Муза венчает славу, а слава — музу).

Так, средствами языка, воссоздавая колорит эпохи Годунова и Самозванца, как одного из моментов драматических противоречий России и Европы, Пушкин дает возможность чуть ли не зрительно увидеть католическое двуперстие «гордой полячки», когда она говорит:

Но — слышит бог — пока твоя нога
Не оперлась на тронные ступени,
Пока тобой не свержен Годунов,
Любви речей не буду слушать я.

Пушкин ввел в трагедию даже целую сцену, построенную на остро языковом столкновении русского просторечия с выкриками и командами на французском и немецком языках с примесью русских слов, комически искаженных чужеземным акцентом.

Маржерет.
Куда, куда? Allons ...пошоль назад!
Один из беглецов.
Сам пошоль, коли есть охота, проклятый

басурман.

Маржерет.
Quoi? guoi?
Другой.
Квал Квал тебе любо, лягушка заморская, квакать
на русского царевича; а мы ведь православные...

Польская литература в лице Зигмунта Красинского, автора повести «Аги-Хан», объективно разделила вышеизложенную художественную концепцию создателя «Бориса Годунова». Польская повесть так щедро наполнена мотивами ориентализма, что даже в системе образов одно из видных мест занимает образ одетого в костюм восточных эмиров Аги-Хана, сгоравшего любовной страстью к Марине Мнишек. Этот герой является и синтезом романтического ориентализма, который отнюдь не был лишь внешним средством заострения образов и сюжета. Романтический ориентализм писателя довольно широко захватывал русские просторы: Москву, Калугу, восточные степи, был результатом действительно «изображенного общего ориентального характера соединения народов», был выражением концепции «европейского Востока», «как факта перемешки цивилизаций в великом котле народов». Так справедливо считает Мария Янион, одна из лучших исследователей жизни и творчества Зигмунта Красинского. Красинский, хорошо и не зная пушкинской трагедии, объективно же он подобно А. С. Пушкину показал, как остро конфликтная «переплетенность» «вскармливала» и в Польше, и в России характеры деформированные, противоречивые, но трагически глубокие и сильные, которые пополняли пантеон европейской цивилизации.

Ставя трагедию А. С. Пушкина в план историко-литературных сопоставлений с фактами истории польской литературы и общественной мысли, выявляя моменты, сближающие «Бориса Годунова» с повестью Зигмунта Красинского, необходимо здесь же подчеркнуть, что пушкинский реалистический историзм был более пронизательным, чем романтический историзм Красинского. Автор «Аги-Хана» в своем понимании причин польского завоевания Москвы в начале XVII века разделял вообще очень распространенную в польской историографии мысль о том, что сила и доблесть польского оружия, шляхетского воинства были решающим фактором в падении московского Кремля и трона.

В одном из своих писем Красинский замечал, что «огромное царство русское падало от Балтики до моря Каспийского под железными перчатками польских воинов». Неслучайно поэтому, что в повести «Аги-Хан» Красинский сравнивал падение Москвы под ударами польского оружия в начале XVII века с падением Древ-

него Рима под ударами варваров, уподобляя польское воинство героям, победителям Рима. Так мы, например, читаем в повести «Аги-Хан»: «Для поляков тот мир был новым, восточным, широким, открытым на растоптание подковами коней. Все, что спало в Лехии из закаленных душ и диких сердец, то пробудилось и яростно стало жить на полях от Москвы до Астрахани... Века тому назад такими бывали герои, победители Рима, у которых свобода кипела в груди». (Переведено нами. — А. К.). Надо ли говорить, как вдохновенно романтизировал писатель католическую польско-римскую интервенцию начала XVII века?

А. С. Пушкин, который был знаком с подобными тенденциями польской историографии и шляхетской традицией, всегда имевшей множество житейских проявлений, резко оспорил и отверг их в трагедии «Борис Годунов». В тексте трагедии не один раз разговор заходит о польском воинстве, идущем с Самозванцем:

Б а с м а н о в.

Пока стою за юного царя,
Дотоле он престола не оставит;
Полков у нас довольно, сдава богу!
Победою я их одушевлею,
А вы кого против меня пошлете?
Не казака ль Карелу? али Мнишка?
Да много ль вас? всего-то восемь тысяч.

П у ш к и н.

Ошибся ты: и тех не наберешь —
Я сам скажу, что войско наше дрянь,
Что казаки лишь только селы грабят,
Что поляки лишь хвастают да пьют...

В другом месте, мы слышим, происходит такой спор польских воинов с русским пленником:

Л я х.

Назавтра бой! их тысяч пятьдесят,
А нас всего едва ль пятнадцать тысяч.
С ума сошел.

Д р у г о й.

Пустое, друг: поляк
Один пятьсот москалей вызвать может.

П л е н н и к.

Да, вызовешь. А как дойдет до драки,
Так убежишь от одного, хвастун.

Л я х.

Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник,
То я тебя (указывая на свою саблю) вот этим бы смирил.

Пленник.

Наш брат русак без сабли обойдется:
Не хочешь ли вот этого (показывая кулак), безмозглый!
(Лях гордо смотрит на него и молча отходит.
Все смеются).

Те, кто был склонен говорить об «антипольских» мотивах и настроениях в творчестве А. С. Пушкина, цитировали и приведенные места. Мы же напоминаем их с другой целью. Приведенные стихи связаны и определены были исторически глубокой и верной мыслью о том, что главной причиной и главной силой всех крупных событий на Руси в конце XVI — начале XVII века был русский народ, его народное мнение. Народ и народное мнение определили трагедию, муки совести, кошмарные галлюцинации и гибель царя-детоубийцы. Опора на русское народное мнение, корыстное использование его — главная причина временного успеха Самозванца и польского оружия. Не случайно, а закономерно то, что художественное раскрытие в трагедии «Борис Годунов» центральной идеи народного всевластия «прошло» через полемику с определенными тенденциями польской историографии и литературы, с шляхетской традицией. В трагедии слова вымышленного пращура Пушкина являлись центром художественного историзма А. С. Пушкина:

...Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помощью,
А мнением; да! мнением народным.
Димитрия ты помнишь торжество
И мирные его завоеванья,
Когда везде без выстрела ему
Послушные сдавались города,
А воевод упрямых чернь вязала?..

Эта же решающая сила истории опять грозно нависла над царским тронem, над Самозванцем, над польскою его помощью.

Что ж вы молчите? кричите: да здравствует
царь Дмитрий Иванович!

Народ безмолвствует.

Тема Ивана Грозного и его противника князя Андрея Курбского, пригретого королем Стефаном Баторием, сын Андрея Курбского, как особое действующее ли-

цо в трагедии, фигура монаха Пимена, проникнутая духом древнерусского летописания, не оставляют сомнений в обширности исторических и литературных источников пушкинского «Бориса Годунова», в круг которых, кроме томов «Истории Государства Российского» М. Н. Карамзина, входили многие произведения древней русской литературы (публицистика Ивана Пересветова, переписка Ивана Грозного с Курбским, «Повести о приходе Стефана Батория на град Псков», «Повести смутного времени» и т. д.).

Тема сложности русско-польских исторических отношений приобрела в трагедии «Борис Годунов» очень характерную (вообще для дальнейшего творчества А. С. Пушкина), исторически проницательную особенность: критически-негативное отношение и изображение «третьей силы» — корыстного и коварного западноевропейского вмешательства, усугубляющего и осложняющего и без того драматические русско-польские связи.

В трагедии «Борис Годунов» эта «третья сила» была типизирована Пушкиным в образе патера Черниковского, посланца папы Римского, преследовавшего цель — с помощью польской интервенции и Самозванца ввести на Руси римско-католическую веру.

Патер Черниковский, услышав от Самозванца заявление в возможности утвердить на Руси «власть наместника Петра», стремится иезуитским культом воодушевить Самозванца и «притворство пред оглашенным светом» возводит в ранг главного духовного долга.

Pater

...Притворствовать перед оглашенным светом
Нам иногда духовный долг велит;
Твои слова, деянья судят люди,
Намеренья единый видит бог.

Так, едва намеченный в наброске стихотворения «Графу Олизару» мотив исторически обусловленной острой конфликтности русско-польских отношений впервые эстетически монументально был воплощен и развит А. С. Пушкиным в трагедии «Борис Годунов». Конец XVI — начало XVII вв. не был периодом последнего вмешательства Западной Европы в русско-польские отношения. Такое вмешательство в целях враждебных России имело место в XVII—XVIII веках и особенно усилилось в эпоху наполеоновских войн. Сама история,

наполеоновское нашествие 1812 года и опасность повторения французской интервенции в 1830—1831 годах определили устойчивость пушкинского изобличения «третьей силы», как важного аспекта художественного решения А. С. Пушкиным польской темы. В этом смысле определенным «продолжением» польской темы в трагедии «Борис Годунов» явилась пушкинская не «антипольская», а **антибонапартистская** трилогия, включившая в себя стихотворения «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой».





А. С. ПУШКИН И ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830—1831 ГОДОВ

**О некоторых
«теориях»**

Вопрос об отношении А. С. Пушкина-поэта к польскому восстанию 1830—1831 годов является в пушкиноведении, пожалуй, особенно противоречивым и запутанным. В попытках более целостного разрешения этого вопроса никак нельзя оставить в стороне довольно распространенную в зарубежном пушкиноведении теорию об «антипольской трилогии», которая в наиболее полной и законченной форме была изложена Вацлавом Ледницким в работе «Об антипольской лирической трилогии Пушкина», опубликованной в книге «Александр Пушкин. Исследования» (1926—1928). Если можно в какой-то мере объяснить высокую, хотя и сомнительную, оценку, дававшуюся в 1937—1939 годах пушкиноведческими работам В. Ледницкого и отмечавшую, что последний взял на себя «необычный труд закладки фундамента нашей новой русистики, свободной от рабства и политических предубеждений», то нельзя этого же сказать о другом авторе, который в 1969 году, полностью принимая вышеприведенный вывод, продолжал: «Исследования Ледницкого: «Из истории поэтической дружбы», «Об антипольской лирической трилогии Пушкина» до сих пор являются наиважнейшими работами в польской пушкинологии, освещающими взаимоотношения Пушкина и Мицкевича и особенно отношение русского поэта к Польше».

Сам же Вацлав Ледницкий, предпочтя Народной Польше «западное лоно», в 50—60-е годы старался развить и углубить свою концепцию «об антипольской лирической трилогии Пушкина». В этих трудах он выдвинул еще одну «теорию», которую можно было бы назвать теорией о скрытой полемической полонофобии

пушкинской прозы. Оказывалось, что, создавая повесть «Станционный смотритель», Пушкин будто **подходил** к «антипольской трилогии». В. Ледницкий, безусловно, хорошо зная работы Владимира Спасовича и Юзефа Третьяка, развил не столько сильные, сколько слабые стороны этих исследователей, обусловленные во многом общим уровнем пушкиноведения в 80—90-е годы XIX века. Если, например, Владимир Спасович, сопоставляя отношения к Польше и полякам П. А. Вяземского и А. С. Пушкина, хотя и отмечал «**громадное преимущество** Вяземского по польско-русскому вопросу, однако же не сводил смысл стихотворений «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и «Перед гробницею святой» к «полякопожирательству» и не подозревал, что будто повесть «Станционный смотритель» есть антипод произведению Вяземского «Станция», потому, дескать, что первая содержала в себе раздраженную антипольскую полемику.

В. Ледницкий же в подходе к произведениям П. А. Вяземского и А. С. Пушкина сосредоточивался на мысли о том, что Вяземский будто писал свое произведение «Станция» только для того, чтобы «скуке и грязи русской почтовой станции» противопоставить «привлекательную, чистую уютную польскую станцию с цыплятами, рачками, спаржей, с гитарой и оружием старой польской славы на стене, со свежими цветами на окнах, с воспоминаниями подробностей о героях Кракова и Вильно, с трагическим и сентиментальным романом, с листами Дмоховского на шкафу, с дочерями и женами комиссаржев».

Соответственно повесть «Станционный смотритель» трактовалась В. Ледницким предвзято. Будто А. С. Пушкин писал свое произведение только для того, чтобы от Вяземского «защитить русского станционного смотрителя и русскую станцию вообще», чтобы, «отвечая Вяземскому», показать, что «дочь станционного смотрителя находится ничуть не ниже, чем дочь польского комиссаржа» и «приключения на русской почтовой станции могут быть не менее привлекательны, чем путешествие в Варшаву».

В согласии с В. Ледницким почти то же самое на немецком языке написал Г. Вытженс. Он также говорил, что «Станция» Вяземского начинается хвалебной песней чистоте польской почтовой станции в противополож-

ность русской и что «пушкинский «Станционный смотритель» явился знаменитым литературным ответом на принижение русских».

Расценивая повесть «Станционный смотритель» как произведение, уже содержащее в себе полемическо-полонофобские мотивы, австрийский славист видел в Пушкине, авторе лирической трилогии, выразителя официально-националистического отношения к польскому восстанию 1830—1831 годов. Такую позицию поэта исследователь объясняет стремлением Пушкина «защитить себя от всегда опасных недоверий царя и Бенкендорфа» и отгородиться от И. Лелевеля, «назвавшего Пушкина на первом месте среди русских друзей Польши».

Сторонники «теории о скрытой полемической полонофобии пушкинской прозы» в попытках обогащения аргументации ссылались на давнюю работу В. В. Виноградова «О стиле Пушкина», опубликованную в начале 1930-х годов. В этой статье В. В. Виноградов, действительно, считал, что в содержании и стиле «Станционного смотрителя» есть черты полемики Пушкина с произведением Вяземского «Станция».

Несмотря на то, что нам не кажутся некоторые положения и наблюдения В. В. Виноградова, касающиеся вопроса полемичности содержания и стиля «Станционного смотрителя», бесспорными, тем не менее мы утверждаем, что В. В. Виноградов нигде не делал тех выводов об антипольской полемичности автора «Станционного смотрителя», которые сделали В. Ледницкий и Г. Вытженс, ссылавшиеся на известного советского филолога. В. Ледницкий и вслед за ним Г. Вытженс, увлекаемые резким противопоставлением Вяземскому, другу Польши, — Пушкина, «недруга Польши», готовы были чуть ли не все содержание повести «Станционный смотритель» свести к постоянно продолжавшейся скрытой полемике с князем Вяземским.

Подобные точки зрения не представляются достаточно основательными. Думать, что Пушкин вдохновлялся в создании своего гуманистического произведения стремлением «защитить от Вяземского русского станционного смотрителя» и т. д., значит мельчить и Пушкина, и Вяземского, а творческое взаимодействие между двумя художниками во вторую половину двадцатых годов пытаться свести к какой-то частной раздраженной полемике, не очень-то значительному спору.

Чтобы действительно разобраться в этом вопросе, чтобы действительно понять, есть или нет в повести «Станционный смотритель» антипольская полемика с Вяземским, необходимо более пристально всмотреться и в произведение Вяземского, и в произведение Пушкина.

**Стихотворение
П. А. Вяземского «Станция»
и повесть А. С. Пушкина
«Станционный смотритель»**

П. А. Вяземский занимает очень видное место в русско-польских литературных отношениях XIX века, однако его

значение в разные периоды долгой жизни поэта не одинаково, оно связано с общей эволюцией его идейно-политических воззрений.

В 40—70-е годы Вяземский в отношении ко всем важнейшим проблемам общественной и литературной жизни все больше склонялся к консерватизму и реакции.

В 60—70-е годы XIX века Вяземский, отрицательно относясь к русским революционерам-разночинцам, считал и польское национально-освободительное восстание 1863 года черной неблагодарностью, чуждой интересам польского народа. В феврале 1864 года в Остафьево он написал специальную брошюру, в которой резко отрицательно, в тонах, выгодных русскому царизму, характеризовал январское польское восстание 1863 года.

В 20—30-е годы XIX века П. А. Вяземский тоже не разделял идей революционного действия. Он не принадлежал ни к одной из тайных декабристских организаций. Однако в этот период Вяземский по своим идейно-литературным взглядам вообще (и по своей позиции в отношении к Польше, в частности) являлся своеобразным «спутником» декабристов. Ему претили крепостническая жестокость, низость нравов царской бюрократии и придворного раболепия. Он принадлежал к той передовой части дворянской интеллигенции, которая являлась во многом идейно близкой декабризму.

Содержание и значение польских связей и интересов П. А. Вяземского было несравненно шире и оригинальнее, чем это представлялось либерально-буржуазному литературоведению, сводившему польские связи поэта к «усвоению в Варшаве байронизма».

При ближайшем, например, участии П. А. Вяземского декабрист М. Ф. Орлов намеревался в 1820 году из-

давать журнал «Российский наблюдатель в Варшаве».

Находясь на государственной службе в Царстве Польском в 1818—1821 годах, молодой Вяземский несравненно шире, независимее смотрел на польский народ, польскую культуру, чем это допускалось царизмом. Недаром Вяземский в 1821 году был вынужден на время оставить государственную службу и выехать из Варшавы отчасти потому, что его отношения к польскому обществу не совпадали с видами правительства. Вяземский изучил польский язык и польскую литературу, дружески уважительно относился к видным деятелям польского искусства, науки и литературы (Осинский, Моравский, Немцевич, Шимановский).

Нестор польской словесности Юлиан Урсин Немцевич в одном из своих писем к П. А. Вяземскому, сообщая об избрании последнего в члены Королевского общества друзей наук в Варшаве, добавлял: «Этому событию Вы обязаны Вашими качествами, Вашему постоянному благожелательству по отношению к нашему несчастному народу...». Сказанное конкретизировал: «Г-н Мицкевич пишет мне, насколько он и наши польские изгнанники благодарны Вам за доброе отношение к ним. От имени всех моих соотечественников я приношу Вам самую искреннюю благодарность».

Как вспоминал Л. Реттель, П. А. Вяземский приложил много стараний к тому, чтобы властями было дано разрешение на печатание в Петербурге и Варшаве «Конрада Валленрода», «Пана Тадеуша» и других произведений Мицкевича, если не всех». Он же выступал в качестве рецензента и критика произведений Адама Мицкевича.

Словом, появлению польской темы в оригинальной поэзии П. А. Вяземского предшествовала обширная осведомленность поэта в области истории, быта, культуры и языка польского народа. В 1825 году Вяземский написал, а в 1829 году опубликовал в альманахе «Подснежник» «Главу из путешествия в стихах» под заглавием «Станция». Это оригинальное произведение наиболее полно и ярко выразило внимание и симпатии Вяземского к Польше, польской общественности и культуре.

Путешествующий герой, застряв из-за отсутствия лошадей на одной русской почтовой станции, мыслями уносится в Польшу. Вынужденная задержка вызывает неудержимый бег воспоминаний о виденном и пережи-

том в странствиях по дорогам Польши. К сожалению, героя судьба не пускала дальше польских почтовых станций, но о последних воспоминания приятны, легки, игривы, как «пара бойких глаз, искусных в проволочке польской», виденных там, где

Жена или дочка комиссара
Полячка, — словом все сказал:
Тут и портрет и мадригал.

Воссоздавая быт польской почтовой станции, Вяземский упоминал, стремясь удержать «местность красок» тех «Kurczeta, gaczki i szparagi» (цыплята, раки, спаржа), которые почти дословно позже встретятся в пятой книге «Пана Тадеуша» Адама Мицкевича. Легкий бег воображения так стремительно переносит героя в его прошлую жизнь в Варшаве, что варшавская жизнь, ее уклад, нравы поэтически предстают живо и ярко, с обилием характернейших примет. В ряду выразительных «реалий» варшавского быта упомянуты «горнушки вейской кавы», знойная мазурка, монастырь на Висле, пригород Беляны, где бывали гуляния, и т. д.

Герой очарован польским словом *umizgac si* (увиваться, ухаживать, кокетничать), с ним связана масса воспоминаний о радостях, соблазнах молодости, о тех «ножках стройных», высшей похвалой которым может быть лишь сравнение их с памятными строфами Пушкина.

Трудно согласиться с мнением о «снобизме стихотворения «Станция», о «стиле словоохотливой болтовни», о пафосе, якобы потраченном лишь на «любовный рассказ о польской станции».

Содержание произведения Вяземского «Станция» было значительно крупнее и разнообразнее. Мотивы упования чувственными радостями, любование некоторыми сторонами уклада жизни в Польше имели оттенки политического свободомыслия.

Имея в виду официальную Россию и официальное понимание патриотизма, автор «Станции» опасался «проклятья патриотических улик» и потому бросал лукаво насмешливый каламбур:

Патриотической печатью
Не лучше ли скрепить язык?

Упоминая о «певце, который всдал горе, и дантевский стих» и о том, что «нет ничего горестнее, как вспоминать в бедствии о благополучном времени», Вяземский не приближался к «словоохотливой болтовне». Его герой признавал, что своим расположением к Польше и польской общественности он возвышался над официально-казенным «патриотизмом». Автор «Станции» в своих воспоминаниях и размышлениях о Польше, Варшаве ярко передавал не только отдельные явления и приметы польского быта, но, главное, проникал в атмосферу идейно-культурной жизни польской общественности. Он метко и образно воссоздал дух варшавской прессы 10—20-х годов XIX века, проникательно уловил одну из ярко выраженных, исторически обусловленных черт польского национального характера, польской романтической литературы и театра — приверженность к памяти и традициям национальной государственности и суверенности:

В аллею сжался город тесный.
Вот в лицах старины мечты:
Вот сейм державный, сейм прелестный,
Вот Посполита красоты...
Или в театре народбвом,
Где окрыляют польским словом
Патриотический порыв... и т. д.

Симпатии поэта к патриотическим чувствам варшавян, к польскому языку и театру являлись в 20—30-е годы XIX века одной из форм политического свободомыслия, оппозиционного в отношении двуличной, как полагал Вяземский, политике, которую проводил царизм в Польше.

Если сопоставлять между собой произведение П. А. Вяземского «Станция» и повесть А. С. Пушкина «Станционный смотритель», написанную 14 сентября 1830 года (то есть до начала польского ноябрьского восстания 1830 года), и если не проецировать на эти произведения более поздней полемики между Вяземским и Пушкиным по польскому вопросу, то в содержании этих произведений, пожалуй, больше того, что их сближает, чем того, что полемически противопоставляет.

Избрание эпиграфом к «Станционному смотрителю» несколько видоизмененных стихов из «Станции» вряд ли представляет и открывает собой полемику. Подобно этому и Вяземский эпиграфом «*Sta viator!*» (стой, пут-

ник) не намеревался спорить с латинской эпитафией. Поэт переосмысленным употреблением ее обозначал лишь ситуацию и тему своего повествования:

Досадно слышать «sta Viator!»
Иль, изъясняясь простей:
«Извольте ждать, нет лошадей», —
Когда губернский регистратор,
Почтовой станции диктатор
(Ему типун бы на язык!),
Сей речью ставит вас в тупик.

Пушкин, поставив эпитафией слова: «Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор. **Князь Вяземский**» художественно намекал не на то, что он намерен оспаривать Вяземского, а, пожалуй, на то, что намерен по-своему продолжить его. Тем более, что чуть ниже автор риторически спрашивал: «Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский?»

Пушкину был глубоко понятен и близок тот иронический смысл, который вкладывал П. А. Вяземский в слово «диктатор». Пушкин подчеркнуто сблизил грустную иронию этого слова с основной темой своей повести — обид и горя «маленького человека». Пушкин не оспаривал автора «Станции», а поистине гениально продолжил, развил тот мотив мученичества «диктатора», который содержался в произведении Вяземского, — в таких его стихах, как:

«Так лошадей мне нет у вас?» —
— Смотрите в книге: счет тут ясен.
«Их в книге нет, я в том согласен;
В конюшне нет ли?» — Тройка с час
Последняя с курьером вышла,
Две клячи во дворе и есть,
Да их хоть выбылыми счесть:
Не ходит ни одна у дышла..
— Да к ночи кони придут, нет ли,
Тут их покормим час иль два.
Ей-ей, кружится голова;
Приходит жутко, хоть до петли!
И днем и ночью все разгон,
А всего-навсего пять троек.
Тут как ни будь смышлен и боек,
А полезай из кожи вон!

Пушкин же о мученике четырнадцатого класса восклицал: «Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на зрителе. Погода песносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут — а виноват зритель!».

Пушкину не было необходимости от Вяземского «защищать русского станционного зрителя и русскую станцию вообще, как полагал В. Ледницкий. Это тем более очевидно, что у Вяземского размышления о станции, о дорогах и путешествиях было значительно содержательнее, чем это казалось В. Ледницкому и Г. Вятженсу.

Мотив неуютности путешествий по дорогам и станциям России имел продолжение в сатире «Русский бог», которая была написана в 1828 году «измученным и сердитым» Вяземским «дорогою из Пензы».

Бог метелей и ухабов,
Бог мучительных дорог
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.

Пушкин мыслил и чувствовал неизмеримо шире и глубже, чем это представляется тем, кто полагает, будто создатель «Станционного зрителя» хотел «защищать... русскую станцию вообще» от таких, к примеру, стихов Вяземского, как:

А долго ли прикажешь мне,
Плата в избе терпенью дани,
Истории тьму-таракании
Учиться по твоей стене?

Тем более, что П. А. Вяземский о всех дорогах, станциях и вообще о русской жизни в ее прошлом, настоящем и будущем судил отнюдь не как какой-то чужестранец, а судил как один из наследников и приверженцев великих дел Петра, придавших **богатырскую поступь** России.

Мог ли певец «Полтавы», Петра I и дорог русской военной славы 1812 года вступать в какую-то раздражительную полемику против стихов Вяземского?! Не «легковесность», а именно значительность идейно-эстетического содержания произведения П. А. Вяземского побуждала А. С. Пушкина и брать эпиграф и (проница-

тельное и типичнее) развить одну из тем, затронутую его современником.

Реалистически рассказанная история станционного зрителя Вырина (по иронии судьбы носившего имя могучего Самсона) и судьба его дочери, так похожая на судьбу «Бедной Лизы», не таили в себе абсолютно никаких оттенков полонофобии. Это был иной по замыслу, по материалу, по жанру рассказ о русской действительности, в котором некоторые аналогии с произведением П. А. Вяземского могут лишь подчеркивать творческое взаимодействие двух художников. Взаимодействие было не полемикой, не опровержением одного из них, а формой признания и новаторски-творческого развития в повести «Станционный зритель» одного из мотивов, в произведении П. А. Вяземского лишь едва затронутого.

Идейно-художественный смысл «Трилогии»

Как «теория о скрытой полемической полонофобии пушкинской прозы» не отражает действительного содержания повести «Станционный зритель», так и концепция об антипольской сущности «лирической трилогии» имеет лишь иллюзию внешнего правдоподобия, но не отражает глубины и сложности идейно-художественного содержания известных стихотворений А. С. Пушкина.

Отношение А. С. Пушкина к польскому восстанию 1830—1831 годов не было ни односторонним, ни конъюнктурным, ни официально-националистическим. Оно было самостоятельным, живым, критическим и широким по охвату и анализу различных политических тенденций и явлений, вызванных им.

Адам Мицкевич вообще считал, что Пушкин в суждениях о вопросах политики всегда обнаруживал редкую глубину, самостоятельность и вдумчивость.

«Пушкин, — вспоминал Мицкевич, — поражал слушавших его живостью, ясностью и деликатностью своего ума. Он обладал необыкновенной памятью, верным суждением и изящным вкусом. Слушая его, размышляющего о политике, заграничной или собственной страны, можно было принять его за мужа, поседевшего среди общественных дел и ежедневно читающего отчеты всех парламентов».

События в Польше, начавшиеся в ноябре 1830 года,

вызвали к себе со стороны поэта живейшее внимание. Они всколыхнули в Пушкине, политике и поэте, память о 1812 году и чрезвычайно обострили его внимание не только к характеру, фактам и силам развертывавшегося движения в Польше, но и ко всей сфере политических, военных и дипломатических отношений России со странами Европы и прежде всего с Францией.

Дневниковые записи и письма Пушкина, относящиеся к периоду восстания в Польше, отражают широкую и остро заинтересованную осведомленность поэта о ходе восстания, о довольно значительном круге видных участников и руководителей движения в Польше, об удачах и неудачах военных действий польских повстанцев. Внимание Пушкина привлекали такие руководители польского восстания, как «начинщик революции» Петр Высоцкий, президент Польского национального комитета Иоахим Лелевель, такие видные военные руководители польской повстанческой армии, как Храповицкий, Скржинецкий, Кржнецкий, Дембинский, Джероламо и др.

При общей отрицательной оценке польского восстания и определенно выраженном мнении о быстрейшем желательном подавлении его Пушкин умел отдать должное высоте духа польских повстанцев, «борьбы отчаянной отваге».

1 июня 1831 года Пушкин писал П. А. Вяземскому: «Ты читал известие о последнем сражении 14 мая. Не знаю, почему не упомянуты в нем некоторые подробности, которые знаю из частных писем и, кажется, от верных людей: Кржнецкий находился в этом сражении. Офицеры наши видели, как он прискакал на своей белой лошади, пересел на другую бурую и стал командовать — видели, как он, раненный в плечо, уронил палаш и сам свалился с лошади; как вся его свита кинулась к нему и посадила опять его на лошадь. Тогда он запел. Еще Польшка не сгинела, и свита его начала вторить, но в ту самую минуту другая пуля убила в толпе польского майора, и песни прервались. Все это хорошо в поэтическом отношении. Но все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна».

В попытках объяснить отрицательное отношение поэта к польскому восстанию необходимо учесть ряд обстоятельств и причин, связанных с особенностями этого восстания.

Магнатско-шляхетские притязания на присоединение к Польше западных белорусских, литовских и украинских земель вместе с городом Киевом, игравшие определенную роль в восстании 1830—1831 годов, были Пушкиным замечены и отвергались с чувством негодования. Последнее было столь сильным, что определило в стихотворении «Бородинская годовщина» целый каскад гневно риторических вопросов:

...Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волянь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

С исключительным вниманием следя в 1830—1831 годах за сообщениями русской и иностранной печати о событиях в Польше, постоянно читая «Внутренние известия», которые выходили в виде особых прибавлений к русским газетам, Пушкин хорошо знал о попытках польского повстанческого правительства установить дипломатические связи с рядом стран Запада с целью вызвать их вмешательство. Представители польского повстанческого правительства (маркиз Велепольский в Англии, граф Роман Залусский в Швеции, граф Линовский в Турции) усиленно добивались от этих стран различных действий, вплоть до военных, против России. В 1830—1831 годах французская пресса была почти поголовно на стороне поляков. Во Франции рост полонофильских настроений в то время в определенной мере был связан с чувствами отмщения России, победительнице Наполеона.

В Париже в Палате Депутатов произносились горячие речи по польскому вопросу, о необходимости военного вмешательства, о походе на Россию. Особенно красноречиво требовал военной интервенции против России Лафайет. Не мог не знать Пушкин и о том, что одно из уличных полонофильских шествий в Париже завершилось нападением на русское посольство.

Польское восстание Пушкин воспринимал как реальную опасность, так как ему казалось, что оно может вызвать военную интервенцию в Россию со стороны Франции и других стран Европы. К этим раздумьям постоянно обращались мысль и чувство поэта.

9 декабря 1830 года в письме к Е. М. Хитрово поэт восклицал: «Какой год! Какие события! Известие о польском восстании меня совершенно потрясло».

Эта «потрясенность» не порождала вспышек слепой ненависти к полякам. «Иронический тон», «самохвальство» в адрес поляков поэт осуждал. Он думал о событиях сосредоточенно и печально. В том же письме от 9 декабря 1830 года говорилось: «Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы ненавидеть их, начинающаяся война будет войной до истребления или по крайней мере должна быть таковой. Любовь к отечеству в душе поляка всегда была чувством безнадежно-мрачным. Вспомните их поэта Мицкевича. — Все это очень печалит меня. Россия нуждается в покое».

А. С. Пушкина настолько часто охватывало чувство надвигающегося будто военного столкновения России со странами Европы, поводом к которому служило польское восстание, что в письмах он неоднократно затрагивал эту тему.

1 июня 1831 года он писал П. А. Вяземскому:

«Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention, т. е. избегать в чужом пиру похмелья, но народы так и рвутся, так и лают. Того и гляди навяжется на нас Европа».

3 августа 1831 года поэт сообщал тому же адресату:

«...я все еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело опасное. А если мы и осадим Варшаву (что требует большого числа войск), то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело».

14 августа 1831 года Пушкин замечал:

«Если заварится общая, европейская война, то, право, буду сожалеть о своей женитьбе, разве жену возьму в торока».

Можно вполне верить записям П. И. Бартенева, сделанным со слов П. В. Нащокина о том, что во время польского восстания Пушкин даже «хотел было совсем оставить свою женитьбу и уехать в Польшу». Нащокин был против такого намерения и имел с поэтом горячий

разговор по этому случаю в доме кн. Вяземского. Намреваясь отправиться в Польшу, Пушкин все напевал Нащокину: «Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи».

В 1830—1831 годах А. С. Пушкин относился к Польше, к польской теме прежде всего как к теме военно-патриотической. Поэтому он в размышлениях и в творчестве часто сопоставлял 1830—1831 годы и 1812 год. Такие сопоставления вызывали в настроении и творчестве поэта обостренные чувства возмущения и негодования против той части дворянского общества, которая и в 1812 году и в 1830—1831 годах не принимала близко к сердцу ни бедствий, ни славы отечества, которая оставалась или равнодушной или даже злорадно удовлетворенной осложнениями отношений России с Францией, Европой.

«Грустно было слышать, — писал Пушкин в 1833 году в черновике к II главе своей статьи о Радищеве, — толки московского общества во время последнего польского возмущения; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбающихся при вести о наших неудачах». А чуть раньше, в июне 1831 года, работая над повестью «Рославлев», Пушкин теми же чувствами негодования и сарказма окрасил описание легкомысленного и ничтожного русского дворянского общества 1811—1812 годов: «Все говорили о близкой войне и, сколько помню, довольно легкомысленно. Подражание французскому тону времен Людовика XV было в моде. Любовь к отечеству казалась педантством. Тогдашние умники превозносили Наполеона с фанатическим подобострастием и шутили над нашими неудачами... Молодые люди говорили обо всем русском с презрением или равнодушием и, шутя, предсказывали России участь Рейнской конфедерации. Словом, общество было довольно гадко». Но немного спустя, когда грянуло нашествие, в том же обществе «все закричали о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни.

Полина не могла скрыть свое презрение, как прежде не скрывала своего негодования».

26 марта 1831 года Пушкин, как-то предваряя подобные мысли и чувства, писал Е. М. Хитрово о ничтожности общества московских бар:

«Вот уже около двух недель, как мы ничего не знаем о Польше, — и никто не проявляет тревоги и нетерпения! Если бы еще мы были очень беспечны, легкомысленны, сумасбродны, — ничуть не бывало. Обнищавшие и унылые, мы тупо подсчитываем сокращение наших доходов».

Негодование против подобных людей из высшего общества было столь сильным, что тогда же в 1831 году Пушкин сатирически очерчивал облик тех, кто «руки потирал от наших неудач, с лукавым смехом слушал вести», «пил здоровье Лелевеля», кого не тревожили речи парижских ораторов, угрожавших военной интервенцией в Россию:

Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.

Если приверженцы «теории» о Пушкине — создатели «антипольской трилогии», характеризуют стихотворения «Перед гробницею святой», «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» как своеобразное «пожирательство поляков», то нам видится в этом цикле нечто совсем иное, — многогранное, сложное такое, что отнюдь не делало поэта каким-то ожесточенным врагом Польши.

П. А. Вяземский, который в своих дневниковых записях от 14, 15 и 22 сентября 1831 года резко восставал против стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», считая их наряду со стихотворением В. А. Жуковского «Старая песня». «ползанием с лирою в руках», позднее все же признавал, что названные произведения А. С. Пушкина были «не торжественная ода на случай; они изливание чувств задушевных и мнений и убеждений, глубоко вкорененных».

Духовный сын героики Отечественной войны 1812 года, вспоившей и декабристов, А. С. Пушкин в названных стихотворениях поэтически утвердил нетленность народной памяти о подвиге Родины в войне с Наполеоном. Всем сердечным смыслом своих стихов и образов поэт восставал против нависшей угрозы повторения чужеземного (прежде всего французского) нашествия, избравшего поводом события в Польше. Народный поэт звал и вдохновенно прорицал непобедимость своей Ро-

дины. Оживали тени Суворова, Кутузова. Автору виделась и «старый богатырь», готовый завинтить вновь свой измаильский штык, и вся сверкающая «стальной щетиной» русская земля, в которой найдет свой конец другое чужеземное нашествие.

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?..
„Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долгод будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злагом северных полей!»

Возвышенная поэтизация Отечественной войны 1812 года была поэтизацией героики великого подвига народной России, Кутузова, боевых традиций русского оружия, со славой которого были кровью спаяны имена, составлявшие ядро декабристов.

Такая особенность так называемой «официально-николаевской», «антипольской трилогии», в сущности, таила в себе скрытую полемику с официально-николаевской трактовкой войны 1812 года.

Многие современники поэта в отличие от Вяземского сразу же проникательно поняли, что главный пафос стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» был пафос обличения западноевропейских витий, пафос патриотического воззвания к стойкости и мужеству в минуту надвигавшейся угрозы повторения западного нашествия на Россию. Поэтому П. Я. Чаадаев 18 сентября 1831 года восхищенно писал Пушкину о стихотворении «Клеветникам России»: «Вот, наконец, вы национальный поэт; вы нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России: я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано в целый век».

Молодой М. А. Бакунин в своем письме к родителям от 20 сентября 1831 года, восхищенно отзываясь о стихотворении «Клеветникам России», полном «огня и истинного патриотизма», видел главный пафос произведения в отпоре угрозам чужеземного нашествия. Бакунин сообщал далее, что Пушкин свое произведение «озагла-

вил сначала «Стихи на речь, говоренную генералом Лафайетом», но цензура изменила этот заголовок и поставила «Клеветникам России».

В разрешении польской темы в своей отнюдь не «антипольской трилогии» поэт сопротивлялся тому, чтобы в отношении Польши повторился 1812 год, чтобы, как при Наполеоне, Польша была втянута в западное нашествие на Россию.

Уж Польша вас не поведет!

В контексте антибонапартистской «лирической трилогии» эта строка особенно содержательна. Она конденсат обостренной памяти и говорит о смутном времени Лжедмитриев и об участии польских легионов в наполеоновском нашествии 1812 года.

В ней как бы брет свое начало та мысль о Польше и Наполеоне, которая позднее, особенно в «Былом и думах» А. И. Герцена и эпосе «Война и мир» Л. Н. Толстого, будет противостоять терпкой и цепкой в сознании не одного поколения поляков иллюзии о Наполеоне Бонапарте как ангеле-хранителе Польши и поляков, иллюзии вплоть до трагикомического создания большим художником В. Ваньковичем картины «Апофеоз Наполеона». Никогда не думал художник, что лавровый венок и умильно поднятые к небу глазки, ручки, поднятые к богу и как бы говорящие, что все в воле твоей, и начищенные до блеска императорские ботфорты будут восприниматься как фарс.

Пушкин не мог не понимать глубокой национально-исторической обусловленности польского восстания 1830—1831 годов при всей противоречивости и шляхетском характере последнего. Но тем не менее Пушкин все же считал польское восстание противным как интересам России, так и интересам единения всех славянских народов и польского народа в том числе. Автор стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» свое отношение к польскому восстанию подчинил «другому высшему вопросу об общем назначении славянских народов».

При таких особенностях суждений о польском восстании автор стихотворения «Бородинская годовщина» не мог не звать к миролюбию и милосердию по отношению к павшим Варшаве, Польше.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сождем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

В таком миролюбии и милосердии Пушкин несоединим с официально-николаевской идеологией и действиями царизма. В 1835 году Николай I говорил в Варшаве совсем иное. Он заявлял: «...по повелению моему воздвигнута здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город, я разрушу Варшаву и уж, конечно, не я отстрою ее снова».

П. А. Вяземский был неоснователен, когда в полемическом задоре приписывал стихотворениям «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» черты полонофобии и сервиллизма. Но в одном, видимо, был прав Вяземский. Автор этих стихотворений, как явствует из всего изложенного выше, не умел посмотреть на восстание 1830—1831 годов глазами поляков, их национальной истории. Однако и при этой очевидной, но обусловленной ограниченности для А. С. Пушкина всегда большим и важным вопросом оставался вопрос о семье славянских народов, союзе славянских народов. «Славянские ль ручьи сольются в русском море?» Для Пушкина этот вопрос казался полным драматических столкновений, но все же он оставался «семейной враждой».

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда...

Как бы А. С. Пушкин ни был ограничен, неполон в отношении к польскому восстанию 1830—1831 годов, все же он последователен и пронизателен в глубоком и твердом убеждении в том, что славянские народы (и польский в том числе) свои отношения с Россией, с русским народом должны строить без вмешательства Западной Европы.

Исторический опыт конца XVI — начала XVII веков,

1612 и 1812 годов, осмысленный поэтом не только логически, но и художественно, являлся одной из монументальных философско-эстетических предпосылок «трилогии». «Трилогия» была настолько же страстно-антибонапартистской, убежденной и возбужденной против повторения новых западноевропейских вмешательств в отношении России и Польши, насколько автор ее глубоко, исторически и художественно помнил, что старые скрижали хранят в преданиях о Московском Кремле и варшавской Праге, о Самозванцах и Наполеоне, тоже водившем польские легионы к «великодушному пожару» Москвы. Не антипольский, а антибонапартистский пафос трилогии был идейно и художественно закономерен, подготовлен всем развитием пушкинской лирики. Так, в 1821 году в стихотворении «Наполеон», о смерти «изгнанника вселенной», Пушкин поднимал тему трагической судьбы тех народов, которые под «яремом державным» «баловня побед» шли за ним нашествием в Россию:

Бежат Европы ополченья!
Окровавленные снега
Провозгласили их паденье,
И тает с ними след врага.

В «трилогии» мы находим развитие этого же мотива:

— И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.

Поэтическая аллегория — «длань народной Немезиды» обращена была в стихотворении «Наполеон» против тирана Европы, что «вел мечи на пир обильный». В «трилогии» тот же образ «народной Немезиды» повторен и обращен с возросшей силой против витий ожившего бонапартизма, опять стремившегося в своих целях использовать Польшу. Этот центрический образ перерастает в «трилогии» в образ милосердия и участия к полякам, павшим в отчаянной отваге.

Так лирическая «трилогия» А. С. Пушкина в особых условиях **расширила историческую и художественную идею обусловленной сложности русско-польских отношений, которые никто никогда не разрешал и не разрешит, кроме самих русских и поляков.**

Поскольку эта развиваемая «трилогией» мысль со-
держалась еще в стихотворении «Графу Олизару», по-
скольку некоторые стихи из «трилогии» даже лексиче-
ские оказались близкими к образам-словосочетаниям
1824 года. Например:

...издревле меж собою
Враждуют наши племена:
То наша стонет сторона,
То гибнет ваша под
грозою...

(„Графу Олизару“)

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под
грозою
То их, то наша сторона.

(„Клеветникам России“)

История перевода на польский язык стихотворений
«Клеветникам России» и «Бородинская годовщина»
своеобразно подтверждает то, что отрицание западноев-
ропейского вмешательства в русско-польские отношения,
действительно, является объективной идеей произведе-
ний. На польский язык эти стихотворения впервые были
переведены и опубликованы в 1915 году, как некий не-
обходимый «ответ» на немецкую оккупацию Польши в
первую мировую войну. По справедливому замечанию
Мариана Топоровского, эти переводы «имели скрытую
антинемецкую заостренность».

В современном пушкиноведении довольно широким
признанием пользуется наблюдение о внутренней связи,
существующей между пушкинскими стихотворениями
«Графу Олизару» и «Он между нами жил». Уточняя это
верное наблюдение, нельзя не заметить того, что опре-
деленной «вехой», определенным мотивом, подготовив-
шим эту связь, явились стихи из «Бородинской годов-
щины» о «лире русского певца», не поющей песен, разъ-
единяющих русских и поляков.

Отношение автора «трилогии» к польскому вопросу
в 1830—1831 годах не разрушило, а только осложнило
ту дружбу двух гениальных поэтов славянства — Пуш-
кина и Мицкевича, которая еще в 20—30-е годы про-
шлого столетия стала приобретать в глазах народов
значение пророческого символа содружества и братства
русского и польского народов, русской и польской ли-
тератур.





А. С. ПУШКИН И АДАМ МИЦКЕВИЧ

Накануне дружбы В особенностях идейно-творческого развития А. С. Пушкина и Адама Мицкевича еще до момента их личного знакомства таились многие предпосылки духовной близости. Связи личные и идейные с освободительным движением декабристов, понимание истинной художественности как глубокой народности и национальной самобытности, схожесть судьбы ссыльных и зависимых от одной и той же анчарной силы — все это подготавливало ту почву, на которой вырастет дружба двух поэтических гениев славы.

Нет сомнения в том, что «узнавание» личности и творчества А. С. Пушкина для Адама Мицкевича началось в аспекте особо повышенного интереса и внимания его и филоматских друзей к вестям из Петербурга и России о событиях, лицах и происшествиях, характеризовавших нарастание в русском обществе сил оппозиции и сопротивления царизму. Переписка филоматов в 1819—1823 годах, в которой живейшее участие принимал Адам Мицкевич, сперва студент Виленского университета, а потом добросовестнейший учитель словесности в Ковно, позволяет предположить, что первые слова о Пушкине польский поэт услышал как о смелом вольнодумце, высланном на юг за свою непокорную музу.

Во всяком случае в польском пушкиноведении и по сей день первым отзывом о Пушкине считается письмо филомата Винцента Пелчинского к Юзефу Ежовскому, одному из организаторов общества филоматов, товарищу Адама Мицкевича.

Сам Винцент Пелчинский еще в конце 10-х — начале 20-х годов в Петербурге был близко знаком с

К. Ф. Рылеевым, братьями Бестужевыми и В. К. Кюхельбекером. В июне 1822 года он был избран в члены-корреспонденты Вольного общества любителей российской словесности, участвовал в заседаниях, на которых К. Ф. Рылеев читал свои «Думы». Вот он-то и писал Ю. Ежовскому 17/19 ноября 1820 года из Петербурга о Пушкине:

«Здесь обнаружился немалый поэтический талант в одном 19-летнем молодом человеке, несколько стихотворений которого и одна небольшая поэма очень удалась, написаны счастливо и сильно. Но, так как его Муза не знала хорошо указов, его за то выслали на границу с Персией, чтобы Муза немножко попарила в воздухе»

Для филоматов и юного Адама Мицкевича другим вероятным источником знакомства с литературной жизнью Петербурга и Москвы первой половины 20-х годов был, кроме руководителя польской масонской ложы «Белый орел» в Петербурге художника Иосифа Олешкевича, профессор И. Н. Лобойко, который, получив в 1821 году кафедру русского языка и русской литературы в Виленском университете, установил добрые отношения с филоматской молодежью.

Довольно обширный архив И. Н. Лобойко, хранящийся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, свидетельствует, в частности, о большом интересе этого члена Вольного общества любителей российской словесности к творчеству лично и близко ему знакомого К. Ф. Рылеева, к литературно-творческим связям автора «Дум» с польской литературой. Видимо, с разрешения самого поэта-декабриста располагал И. Н. Лобойко, например, копией дружественного письма Юлиана Урсына Немцевича к К. Ф. Рылееву, переведшему на русский язык думу «Глинский». Тот, кого Рылеев считал одним из лучших поэтов Польши и предшественником своим в жанре «Дум», в упомянутом письме между прочим восклицал: «Приятно находить в братском народе сердца и мысли, которые, побеждая всяческие препятствия и предрассудки, посвящают себя наукам и славе отчизны».

Вполне вероятно, что «друзья науки» (то есть филоматы, члены университетского нелегального культурно-просветительного общества студентов-патриотов) в рассказах И. Н. Лобойко о литературной жизни и борьбе в России, о творчестве К. Ф. Рылеева, о литературно-кри-

тической деятельности А. А. Бестужева, игравшей видную роль в утверждении прогрессивного романтизма, о стремительно росшей известности А. С. Пушкина находили немало созвучного и общего с программной статьей Адама Мицкевича «О поэзии романтической», опубликованной как предисловие к двухтомнику его поэтических произведений, изданному в Вильно в 1822 году. Ведь в развитии русской прогрессивной литературы первой четверти XIX века преодолевались как раз именно те явления, которые и Адам Мицкевич, и литераторы-декабристы, и А. С. Пушкин считали вообще губительными для любой из европейских литератур. Филомат Мицкевич, знакомясь с русской литературной жизнью, не мог не заметить того, что творчество К. Ф. Рылеева и молодого А. С. Пушкина возвращало поэзии то высокое народное, гражданское назначение, которое являлось главной идеей и пафосом статьи «О поэзии романтической».

Заочному знакомству филomата Мицкевича с лучшими людьми русского общества и русской литературы суждено было по известной пословице перерасти в счастье личных встреч, общений, живой дружбы, которая принесет прекрасные плоды и польской и русской литературам.

После раскрытия «Филоматического общества» и царской расправы над его членами Адам Мицкевич, высланный в глубь России, 8 и 9 ноября 1824 года приехал в Петербург. В течение двух с половиной месяцев пребывания в Петербурге, потом во время поездки через Витебск и Киев на юг, пребывания в Одессе, путешествия по Крыму, возвращения в Москву в те дни декабря 1825 года, когда туда пришла весть о событиях на Сенатской площади, — в этот период жизнь и творчество Адама Мицкевича отмечены множеством жизненных и творческих событий, которые сделали просто-таки неизбежным личное знакомство польского поэта с А. С. Пушкиным. Силы «взаимного притяжения» были разнообразны: идейные, творческие и житейские.

В 1825 году Адам Мицкевич, живя в Одессе, путешествуя по Крыму и слагая «Крымские сонеты», в творческих думах и волнениях своих не раз вспоминал Пушкина и обращался к поэме «Бахчисарайский фонтан», первым изданием вышедшей в 1824 году.

Может быть, начиная свой сонет «Аю-Даг» стихом

«Люблю смотреть опершися на скалы Аю-Дага», Мицкевич на какой-то миг почувствовал себя тем путником, о котором Пушкин восклицал в концовке поэмы «Бахчисарайский фонтан»:

Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-Дага...

В том же сонете, обращаясь к «молодому поэту», Адам Мицкевич вспоминает о своей встрече 29 мая 1825 года с Густавом Олизаром в имении последнего, расположенном под Аю-Дагом. Видимо, тогда Густав Олизар ознакомил Адама Мицкевича со своим стихотворением «Пушкину». Такое предположение допустимо, так как великолепный каскад образов, обращенных к «молодому поэту», содержащийся в сонете Мицкевича «Аю-Даг», стремится как бы ослабить ту боль «судьбой побежденного» сарматского поэта, о которой говорилось в последней «загадочной» строфе стихотворения Густава Олизара «Пушкину».

При всех различиях, которые имеются между сонетом Адама Мицкевича «Аю-Даг» и стихотворением А. С. Пушкина «Графу Олизару», в них есть характерный общий мотив, мотив силы искусства, поэзии, в которой прекрасно и высоко разрешаются боль, конфликты, беды певцов.

Создатель «Крымских сонетов» был захвачен и тронут пушкинской поэзией, которая оплакала горестную судьбу польской пленницы Марии, погубленной неволей и ханской страстью. Подобно Пушкину, больше поверившему народному преданию, чем «прекрасно и с эрудицией написанной книге «Путешествие по Тавриде» Муравьева-Апостола», Адам Мицкевич в одном из «Объяснений» к своим сонетам говорил, что «на основе народного предания о бахчисарайской могиле русский поэт Александр Пушкин с присущим ему талантом написал поэту «Бахчисарайский фонтан».

Не только этим примечанием, но и характером поэтического восприятия бахчисарайской старины «Крымские сонеты» творчески соприкасались с поэмой «Бахчисарайский фонтан». Сонет Мицкевича «Бахчисарай»

своим философским и очень предметным, вещным созерцанием следов неумолимой власти времени, обращающей некогда грозное, могучее и молодое в тлен, запустелье и печаль, был внутренне близок художественному видению и настроению автора поэмы «Бахчисарайский фонтан».

Также вслед Пушкину, создавая образ несчастной пленницы, Адам Мицкевич в сонете «Гробница Потоцкой» поэтически подтвердил глубину и верность постижения русским поэтом характера дочери Польши, угасшей на чужбине. Лирический герой сонета, поэт-изгнанник, предвидит, что в разлуке с родиной и он «свси дни окончит в одинокой скорби» и могиле, близкой к гробнице Потоцкой. Яркая художественная ткань сонета, его романтические метафоры воспринимаются как вдохновенное оригинальное развитие и поэтическая конкретизация пушкинских стихов о конце Марии, пушкинских метафор о Марии, позванной из пустыни мира родной улыбкой в небеса, о новом ангеле, озарившем свет.

Образы, метафоры Адама Мицкевича таят в себе следы сложных и высокотворческих, если не реминисценций, то более тонких и прекрасных идейно-художественных взаимодействий. Пушкинский мотив пустыни мира из-за утраты мгновений жизни дорогих обернулся в сонете «Гробница Потоцкой!» образом юной розы, которая увяла оттого, что мгновения прошлого отлегли от нее, как золотые бабочки, и бросили в глубину ее сердца жала воспоминаний. Поэтическая одушевленность и фантазия пушкинских стихов о небесах, позвавших Марию, ангела озарений, оказались как бы воссозданными и продолженными в знаменитой метафоре Адама Мицкевича о громадной полосе звезд на небе, зажженных над польской стороной предсмертным взглядом польки, обращенным к родине.

Определенным подтверждением мысли о том, что пушкинская поэма «Бахчисарайский фонтан» была одним из источников, питавших воображение, вдохновиле и мастерство создателя «Крымских сонетов», является статья Адама Мицкевича, анонимно опубликованная в апрельском номере журнала «Московский телеграф» в 1827 году. В этой статье, оценивая перевод пушкинской поэмы на польский язык, сделанный Адамом Рогальским и опубликованный в Вильно в 1826 году, Адам Мицкевич рассуждал о достоинствах подлин-

шка, как выдающихся художественных ценностях, которыми он искренне захвачен, увлечен и потому доволен слабостью передачи их на польском языке: «Произведение Пушкина — одно из прекраснейших в новой русской литературе... Оно требует от переводчика больше таланта и вдохновения. Сила стиля, богатство выражений, гармония стиха оригинала исчезли в переводе, правда, плавном, но слабом и часто неверном».

А. С. Пушкин и Адам Мицкевич в Москве и Петербурге Если в «южный период» некоторые творческие стремления и мотивы Адама Мицкевича имели определенное сближение и соприкосновение с творчеством А. С. Пушкина, то этому «общему» суждено было иметь великое «продолжение» в личном знакомстве двух поэтов.

Высхавший из Одессы 12 ноября 1825 года, Адам Мицкевич прибыл в Москву 16—17 декабря, одновременно со страшной вестью об исходе восстания на Сенатской площади. Несмотря на высочайшее распоряжение, исходившее еще от Александра I, о том, чтобы ссыльный польский поэт из Одессы ехал во внутренние губернии, вроде Пермской, Вятской, Вологодской, Адаму Мицкевичу удалось не без помощи русских доброжелателей получить в канцелярии Московского генерал-губернатора место и остаться в Москве. Некоторые образы и мотивы политической лирики Пушкина и Мицкевича своими корнями и истоками уходят в ту общую печаль и неуютность, которые испытывали и которыми делились они друг с другом, встретившись в сентябре 1826 года в Москве, вынужденной тогда официально чувствовать и по-казенному ликовать, коронуя на царстве удушителя декабристской «крамолы».

Скорее именно от самого А. С. Пушкина слышал Адам Мицкевич рассказ о той аудиенции, которой 8 сентября почтил Николай I опального поэта, с фельдъегерем доставленного из села Михайловского в Москву. Недаром Адам Мицкевич, передавая в 1842 году своим парижским слушателям содержание этой встречи царя и поэта, упоминал об «интимных разговорах» и о том, что о своем свидании с императором Пушкин рассказывал сам друзьям-иностранцам.

Подтверждением нашего предположения о том, что Мицкевич от самого Пушкина слышал рассказ о цар-

ской аудиенции, является «Письмо Русского Человека», опубликованное в «Колоколе» 1 марта 1860 года. Зовя Русь «к топору» и беспощадно клеймя самодержавие, Русский Человек о подлости и коварстве Николая I писал: «Так оболъстил, по рассказу Мицкевича, Николай I Пушкина. Помните ли этот рассказ, когда Николай призвал к себе Пушкина и сказал ему: «Ты меня ненавидишь за то, что я раздавил ту партию, к которой ты принадлежал, но верь мне, я также люблю Россию, я не враг русскому народу, я ему желаю свободы, но ему нужно сперва укрепиться». И 30 лет укреплял он русский народ. Может быть, этот анекдот и выдумка, но он в царском духе, то есть брать оболъщением, обманом там, где неловко употребить силу» («Колокол», лист 64, 1 марта 1860 года). Видимо, в живом общении с Пушкиным зарождался образ негодования и ненависти против царской воли, казнившей пророков на позорной виселице.

Во всяком случае есть не только идейная, но и образная близость между известными стихами Мицкевича и теми вариантными строчками из стихотворения «Пророк», которые Пушкин вручил бы Николаю I, если бы аудиенция 8 сентября закончилась окончательным разрывом:

— И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, восстань, пророк России,
В позорны ризы одлекись,
Иди, и с вервием вокруг выи
К убийце гнусному явись.

Пять-шесть лет спустя Адам Мицкевич в послании «Русским друзьям» воскликнет:

(Где вы теперь? Благородная шея Рылеева,
Которую я обнимал как братскую,
Висит по царскому приказу, привязанный к позорному
столбу.
Проклятье народам, что убивают своих пророков).

(Переведено нами—А. К.)

При всей сложности и противоречивости своего отношения к Пушкину после восстания 1830—1831 годов (о чем особо речь пойдет ниже) автор «Русским друзьям» в приведенных стихах создал образ, близкий к тому, в котором Пушкин намеревался ранее выразить

свою боль и негодование от николаевской расправы над декабристами.

С глубоким удовлетворением и радостью замечали Адам Мицкевич и его близкие польские друзья, что москвичи, «венчавшие» па трон Николая I, относились в те дни с большим интересом и вниманием к Пушкину, чем к новому царю, пытавшемуся коварно покровительствовать поэту. Один из товарищей Адама Мицкевича Францишек Малевский писал своим сестрам из Москвы 27 сентября 1826 года:

«Должен также написать вам о том, что сейчас немало занимается Москву, и особенно московских дам. Пушкин, молодой известный поэт, сейчас находится здесь; в какое движение пришли *stambuchy*, лорнетки! Перед этим был он за свои стихи *confine'a sa campagne*. Царь позволил теперь приехать ему в Москву. Говорят, что имел с ним долгий разговор и заметил, что сам будет цензором его поэзии и публично назвал его первым русским поэтом».

Расширение и упрочение личных дружеских связей и встреч Пушкина и Мицкевича способствовало их дальнейшему творческому сближению. Близкий Адаму Мицкевичу поэт Антони Эдвард Одынец в письме из Петербурга к Юлиану Корсаку от 9(21) мая 1829 года рассказывал, например, что «на одной из поэтических импровизаций Мицкевича в Москве, Пушкин, в честь которого давался тот вечер, вскочил с места и, ероша волосы, и, право, бегая по залу, восклицал: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я пред ним», — и бросился на шею Адама, обнял его и целовал как брата. Знаю это от очевидца, и вечер тот был началом их взаимной дружбы».

Позднее, издавая свои письма, Одынец к приведенным словам сделал приписку о том, что будто А. С. Пушкин на вопрос, почему он не хочет повидать заграничные страны, отвечал:

«Прелести природы смогу вообразить себе даже более прелестными, чем они есть в действительности; тогда, вероятно, поехал бы для познания великих людей; но я знаком с Мицкевичем и знаю, что более великого нигде не найду. — Слова эти мне повторил тот, который слышал их из уст самого Пушкина.

В 1826—1827 годах Адам Мицкевич не раз оказывался в числе лиц, приглашенных слушать трагедию

«Борис Годунов» в чтении самого автора, А. С. Пушкина.

Видимо, Мицкевич не только бывал очевидцем, но и разделял те восторженные впечатления, о которых, например, М. П. Погодин и сорок лет спустя помнил, как о часах счастья. Во всяком случае, в одном из писем из Москвы Адам Мицкевич в 1827 году сообщал: «Пушкину 28 лет, в разговоре он очень остроумный и увлекающийся; хорошо знает новую литературу, о поэзии имеет понятия чистые и возвышенные. Сейчас написал историческую трагедию «Борис Годунов». Читал из нее отрывки. Могуче продумана в целом и прекрасна в подробностях».

Такое впечатление от глубины и силы художественного проникновения Пушкина в историческое прошлое своего народа не могло не соприкоснуться с творческими стремлениями самого Адама Мицкевича, который в то самое время завершил создание своей исторической поэмы «Конрад Валленрод».

Историзм как важнейшее качество художественности одновременно постигался Пушкиным в трагедии «Борис Годунов» и Мицкевичем в поэме «Конрад Валленрод».

Нельзя не заметить, что при всей различности и особенностях каждого из этих произведений есть черты и моменты принципиального сходства в художественном проникновении и воссоздании исторического прошлого:

1) Обработка силой художественного воображения изученной, преимущественно историко-летописной основы.

2) Художественное воссоздание образов и ситуаций прошлого как органическое единство исторически достоверной основы и политической актуальной современности.

3) Образы Марины, Самозванца, Пимена у Пушкина и образы Альдоны, Конрада, Хильбана у Мицкевича стали глубокими живыми характерами благодаря художественному домыслу.

4) Идея народа, народного мнения, народной памяти явно волновала и автора «Конрада Валленрода».

Идейно-художественное содержание трагедии «Борис Годунов» было так связано с актуальнейшей декабристской проблемой о борьбе с тиранией, что Пушкин в известной мере шел дальше декабристов, выдвигая как решающий фактор исторического движения народ, на-

родное мнение. Эта же мысль, эта идея, хотя выраженные не так четко и впечатляюще, есть и в «Конраде Валленроде». Последнее отчасти объясняется тем, что в проблематике «Конрада Валленрода» несравненно большее место занимает другая политически актуальная художественная идея — идея тайного удара по угнетателям народа.

Развитие в Европе и в России освободительного движения в 10—20-х годах XIX века, венский кинжал студента Занда, тактика создания тайных революционных обществ и организаций во Франции и Италии, в Греции и Испании, в Австрии и Германии, в Польше и России, процесс филوماتов и филаретов, 14 декабря 1825 года в Петербурге, мятежный марш Черниговского полка — все это питало и растило в Адаме Мицкевиче политическую и художественную идею о двух видах борьбы — «надо быть лисицей и львом». Поэтому Мицкевич сложил балладу об Альманзоре и воспел Конрада Валленрода, который в стане немцев-крестоносцев «оттачивал тайно кинжал, упиваясь отмщеньем».

Одновременно, и даже чуть раньше, в творчестве Пушкина зазвучал мотив тайного кинжала. В 1819 году Пушкин в адрес А. С. Струдзу, одного из советчиков Александра I, воскликнул:

Холоп венчанного солдата,
Благодари свою судьбу;
Ты стоишь лавров Герострата
И смерти немца Коцебу.

Если здесь Пушкин лишь упомянул, то в 1821 году в стихотворении «Кинжал» зандовский кинжал был восславлен:

..О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казенном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе, —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Хорошо помня эти мотивы пушкинской поэзии, имевшие некоторое соприкосновение с поэмой «Конрад Валленрод», Мицкевич в некрологе на смерть А. С. Пушкина

на особо выделил то, что Пушкин «написал даже «Оду кинжалу». Эти летучие стихотворения обошли в списках всю Россию от Петербурга до Одессы, их всюду читали, разбирали, восхваляли, они принесли поэту более широкую популярность, нежели все позднейшие его произведения, имеющие несравненно большую ценность».

На основании всего сказанного логично сделать вывод о том, что А. С. Пушкин был заинтересован и захвачен поэмой «Конрад Валленрод» не только как читатель-друг, но и как друг-художник, слышавший в ней и некоторые ему созвучные мотивы и творческие решения.

Отношение А. С. Пушкина к поэме «Конрад Валленрод» углубило и усилило признание в русской передовой общественности и литературе поэтической славы Адама Мицкевича, тогда широко еще не признанного в польском обществе и польской литературе.

Поэма «Конрад Валленрод» была издана на польском языке в Петербурге в 1828 году. Пользуясь первым русским прозаическим переводом этой поэмы на русский язык, который был сделан А. А. Скальковским, Пушкин в том же 1828 году перевел поэтически первые сорок стихов из нового произведения своего польского друга и под заглавием «Отрывок из поэмы Мицкевича: Конрад Валленрод» опубликовал их в первой части журнала «Московский вестник» за 1829 год. Такой публикацией Пушкин сам придал своему переводу определенную смысловую и художественную целостность. Поэтому вряд ли необходимо вслед мнению Ксенофонта Полевого, продолжать быть уверенными в том, что Пушкин из всего большого и разнообразного содержания поэмы Мицкевича «Конрад Валленрод» перевел и опубликовал первые сорок стихов лишь потому, что он не сумел быть переводчиком.

Логичнее и естественнее думать иначе: Пушкин перевел и сам опубликовал то, что ему казалось наиболее важным. Пушкин не мог не ощущать той «кинжальной» актуальности поэмы «Конрад Валленрод» и тех ассоциаций с положением Польши и Мицкевича, какие она вызывала среди польских и русских читателей.

Переводом «Отрывка» Пушкин выразил не только чувство дружбы к польскому поэту. Словами самого Мицкевича Пушкин выразил и свою заветную и сокровеннейшую мысль, начало художественного развития

которой наметилось еще в наброске стихотворения «Графу Олизару». Это была великая (исторически оказавшаяся пророческой) мысль о том, что над всем враждебным, преходящим, противоречивым, даже трагическим, что вставало между русским и польским народами, должны в конце концов восторжествовать их природная близость, общность, искусство.

Пластически четко нарисовав картину настороженной разделенности двух враждующих станов, картину, которая могла вызывать и вызывала определенные ассоциации, касавшиеся современного Пушкину положения Польши и России, друг и переводчик Мицкевича законченно разрешил тему вражды стихами о соловьях, слетавшихся на общий остров:

Лишь соловьи дубрав и гор
По старине вражды не знали
И в остров, общий с давних пор,
Друг к другу в гости прилетали.

Такая идейно-эстетическая целостность произведения «Сто лет минуло, как тевтон...» имела глубокую внутреннюю связь с развитием польской темы в оригинальной поэзии Пушкина. Она предшествовала и по-своему подготавливала более поздние и более яркие пушкинские стихи, слитые с памятью и именем Мицкевича.

Художественный образ Мицкевича в оригинальной поэзии Пушкина возвышался на «общем острове» дружбы, искусства гостеприимства; в нем звучала та «соловьиная песня» Пушкина, которая сближала польский и русский народы, их дух, культуры.

В пушкиноведении, как известно, выдвинуты три гипотезы о том, кого конкретно имел в виду А. С. Пушкин, когда в 1828 году в стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов» над всеми «волшебниками», «сынами Саади», когда-либо удивлявшими древний Бахчисарай, возвысил поэта «прозорливого и крылатого». Разделяя взгляд Н. В. Измайлова о том, что здесь Пушкин имел в виду Адама Мицкевича, полагаем, что пушкинская метонимия-перифраз («Поэт той чудной стороны, где мужи грозны и косматы, а жены гуриям равны...») была построена как скрытая реминисценция из «Конрада Валленрода» и отчасти автореминисценция из отрывка «Сто лет минуло, как тевтон...», где Пушкин переводил:

С медвежьей кожей на плечах,
В косматой рысьей шапке, с пуком
Каленых стрел и с верным луком,
Литовцы юные... и т. д.

Если позднее в повести «Дубровский» Пушкин подчеркнуто использует реминисценцию из «Конрада Валленрода» и заметит: «Марья Кирилловна... не путалась шелками подобно любовнице Конрада, которая в любовной рассеянности вышила розу зеленым шелком», то в стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов» — образ Альдоны с ее неземной любовью и фанатическим самоотвержением, действительно, чем-то похожий на мистических дев мусульманского рая, скрыто «присутствовал», давал особую «краску», «особый и верный звук», в поэтической характеристике Адама Мицкевича, автора именно «Конрада Валленрода».

Если учесть, что Владислав Броневский в круг своих «поэтических привязанностей» включал прежде всего свой прекрасный перевод стихотворения А. С. Пушкина «В прохладе сладостной фонтанов», то этот факт можно расценивать как еще одно косвенное свидетельство обращенности пушкинского стихотворения именно к поэтической высокой индивидуальности автора «Конрада Валленрода», т. е. для Броневского это было несомненным.

Адам Мицкевич не оставляет без ответа внимание Пушкина-поэта к «Конраду Валленроду» и в состав первого тома своих поэтических произведений, выходявших в 1829 году в Петербурге, включает под заглавием «Воспоминание из Александра Пушкина» свой поэтический перевод пушкинского стихотворения «Когда для смертного умолкнет шумный день».

В 1828 году А. С. Пушкин опубликовал это стихотворение не полностью. В рукописи оно имело продолжение, развивавшее тему мучительных высоких переживаний души.

Энергичный и по настроению точный перевод Адама Мицкевича, сделанный им сразу же вслед за пушкинской публикацией, вводил польского читателя в атмосферу души русского поэта, для которого полупрозрачные петербургские ночи были часами бессонной тоски, тяжелых дум, мучительных воспоминаний, слез и проклятий. Эти пушкинские образы оказались близкими и

нужными, ими в какой-то мере «высказывались» и польский поэт-скиталец, и его лирический герой:

Mary wra w mysli, która tesknota przytfacza,
J trosk oblegaja roje;
Wtenczas i przypomnienie w milczniu roztacza
Przede mna swe diugie zwoje.
Ze wstretim i z przestraczem czytam wlasnie dzieje,
J serdecznie zaluje, i gorzkie lzy leje
Lecz smutnych rysow nie zmywam.

Очевидцы, имевшие возможность близко видеть отношения между Пушкиным и Мицкевичем, свидетельствуют, что многообразные и частые литературно-творческие контакты и взаимодействия между ними в 1826—1829 годах в Москве и Петербурге совершались при устойчивых представлениях о том, что «Пушкин — первый поэт своего народа», как говорил тогда автор «Конрада Валленрода». Пушкин же в свою очередь высказывал уважение к поэтическому гению Мицкевича.

В мае 1829 года, прощаясь с Мицкевичем и Одынцом, поэт Иван Козлов сказал, обращаясь к Одынцу: «Взяли мы его у вас сильным, а возвращаем могучим».

Если глубоко истинным и признанным является мнение (впервые сложившееся в русском обществе) о том, что Адам Мицкевич за пять лет жизни своей в России вырос в «первого поэта польского и одного из первых во всеобщем литературном мире», то не менее несомненно то, что общение и дружба с Пушкиным была важнейшим фактором такой эволюции изгнанника из Литвы.

Глубоко ошибочно мнение, имевшее хождение в буржуазной польской русистике, о том, что будто А. С. Пушкин забыл Мицкевича сразу же после выезда последнего из России.

В год выезда польского поэта из России Пушкин, разделяя мнение и стихи Баратынского о Мицкевиче, чей гений должен лишь окрепнуть от «едких суждений» варшавских критиков-классицистов и не нуждается в лавровом венке — «упойтельных похвал», мечтательно рисовал профиль Мицкевича рядом со своим в «лавровом венке».

Представление о нелегкой судьбе первого польского поэта, которого преследовал «писк литературных шепетильников», остро и метко высмеянных Мицкевичем в статье «О критиках и рецензентах варшавских», пред-

посланной в качестве предисловия к петербургскому двухтомному собранию его произведений, видимо, действительно, сыграло некоторую роль в сложной истории создания стихотворения «Я памятник себе воздвиг...» В конце того же 1829 года в «Отрывках из путешествия Онегина» Пушкин стремится поэтически запечатлеть недавно уехавшего из России Мицкевича как «изгнанника вдохновенного». Автора «Крымских сонетов» Пушкин ставил в ряд самых высоких поэтических преданий, связанных с Тавридой. В поиске наиболее точного художественного определения создателя «Крымских сонетов» Пушкин двум определениям, намеченным первоначально («Стихи бессмертные слагал» и «Свои сонеты он слагал»), решительно предпочел последнее «Свою Литву воспоминал». Пушкин посчитал этот стих лучшим не только потому, что он более конкретен в сравнении с двумя — общериторическими, безлико привычными. Избранный и окончательный вариант был решительно лучшим потому, что он отражал главную общую художественную идею, объединявшую сонеты, — идею родины, идею поэтического служения ей. Так и сложился, действительно, канонический текст:

Воображенью край священный:
С Атридом спорил там Пилад,
Там закололся Митридат,
Там пел Мицкевич вдохновенный
И посреди прибрежных скал
Свою Литву воспоминал.

Чуть позже, воспевая красоту и мировую славу сонета, Пушкин не только увековечил блестящий дар поэтической импровизации Мицкевича, но вместе с тем афористично и торжественно запечатлел певца Литвы в ряду прославленнейших имен мировой литературы, наравне с Данте, Петраркой, Шекспиром, Камюэнсом, Вордсвортом:

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключил.

(„Суровый Дант не презирал сонета . . .“)

В том же 1830 году незадолго до польского восстания Пушкин, продолжая знаменитый постскрипtum стихотворения «Моя родословная», в особой эпиграмме на

Фаддея Булгарина называет имена Адама Мицкевича и Тадеуша Костюшко как имена лучших сынов польской нации, решительно отвергнув при этом пренебрежительный оттенок, иногда встречавшийся при употреблении слова «лях».

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях ..

Важно и интересно заметить, что член Центрального Народного Комитета польского восстания 1863 года, редактор знаменитой повстанческой газеты «Рух», а после многолетний узник Шлиссельбургской крепости и сибирской ссылки Бронислав Шварц (1834—1904) в одиночной шлиссельбургской камере вместе со стихотворениями А. С. Пушкина «Кинжал», «В Сибирь», «Моя родословная» перевел и названную эпиграмму с добавлением стихов, приписанных им Пушкину. Акцентировав в переводе на польский язык как слова высокие и гордые — Костюшко лях, Мицкевич лях, — Шварц в стихах, дополнявших пушкинскую эпиграмму, стремился выразительно продолжить пушкинский мотив «о ляхах»:

Сегодня этот славный патриот,
Отступник — позором и предательствами сыт,
Пером воюет вместо копья
Он — Русский, даже нам во стыд.
Двойную цель имеет эта смена:
Царю двойную службу сослужил —
От подлеца избавил Польшу
На нас пятно родством он положил.

(Переведено нами.—А. К.)

**А. С. Пушкин и Адам
Мицкевич в 30-е годы**

Суть отношений Пушкина к польскому вопросу в 30-е годы ни в коем случае не может, по примеру В. Ледницкого (и тех, кто в этом следовал за ним), сводиться к двум фразам, содержащимся в письме поэта к графу Г. А. Строганову от 11 апреля 1834 года: «Весьма печально искупаю я заблуждения моей молодости. Лобзание Лелевеля представляется мне горше ссылки в Сибирь». Историк и крупнейший политический деятель польского национально-освободительного движения И. Лелевель, действительно, 25 января 1834 года в Брюсселе произнес речь в честь «годовщины

свержения Николая с польского престола, а также в память русского восстания 1825 года и гибели русских патриотов». В своей речи И. Лелевель сочувственно упоминал о Пушкине, характеризуя его как поэтического выразителя революционных стремлений лучшей части русской молодежи. Лелевель ошибочно приписывал Пушкину сочинение ходившей в списках сказочки, сатирически обличавшей царя, и указывал при этом на связь ее с польским восстанием. Это выступление И. Лелевеля имелось в виду в той статье из «Journal de Francfort», которая стала известна Пушкину.

11 апреля 1834 года поэт записал в свой «Дневник»: «Сейчас получаю от графа Строганова листок «Франкфуртского журнала», где напечатана следующая статья». Ниже Пушкин переписывал на французском языке текст статьи, где между прочим говорилось: «...извратив в таком роде историю прошедших веков, чтобы заставить ее говорить в пользу своего дела, г. Лелевель так же жестоко обходится с новейшей историей. В этом отношении он последователен.

Он передает нам на свой лад поступательное развитие революционного начала в России, он цитирует нам одного из лучших поэтов наших дней, чтобы на его примере раскрыть политическое устремление русской молодежи. Не знаем, правда ли, что А. Пушкин сложил строфы, приведенные Лелевелем, в те времена, когда его выдающийся талант, находясь в брожении, еще не избавился от накипи, но можем убежденно уверить, что он тем более раскиснет в первых опытах своей Музы, что они доставили врагу его родины случай предположить в нем какое бы то ни было соответствие мыслей и стремлений. Что касается до высказанного Пушкиным суждения о польском восстании, то оно выражено в его пьесе «Клеветникам России», которую он напечатал в свое время».

Ставшая таким путем известной Пушкину речь И. Лелевеля характеризовалась во «Франкфуртском журнале» как «продвижение... планов» «корифеев польской эмиграции», что само по себе не могло не вызвать резких эмоций поэта против «лобзаний».

Но последние далеко не покрывают и не исчерпывают польской темы во взглядах и творчестве поэта в 30-е годы XIX века.

Тема Мицкевича, великого поэта польского народа,

продолжала звучать в широкой песне Пушкина в сущности с прежним вниманием, расположением, искренней симпатией, несмотря на ноты и оттенки глубокой огорченности и скрытой полемики. Продолжалось творческое взаимодействие между двумя художественными гениями славянства.

В ноябре 1832 года в Париже была напечатана III часть «Дзядов», которая имела поэтическое, эпическое приложение под названием «Дзяды. Отрывок части III», посвященное исключительно русской теме и содержавшее главы: «Дорога в Россию»; «Пригороды столицы», «Петербург», «Памятник Петру Великому», «Смотр войска», «Олешкевич», «Русским друзьям». «Отрывок», как и вся III часть, являясь поэтическим ответом Мицкевича на подавление польского восстания 1830—1831 годов, содержал в себе саркастически гневное разоблачение царизма и обращение к «Русским друзьям».

В 1833 году С. А. Соболевский доставил А. С. Пушкину парижское издание III части «Дзядов» Мицкевича. Одним из первых в России познакомившись с новым произведением Мицкевича, Пушкин собственноручно переписал главы «Отрывка».

В III части «Дзядов» и в «Отрывке», привлекавшем особенно пристальное внимание Пушкина, содержалось много такого, что не могло не быть близким и дорогим русскому певцу «вольности святой» (могущество мятежного творческого духа Мицкевича, сатирически поглавное обличение самодержавной тирании русского царизма и сочувствие страданиям крепостной мужичьей России, прорицание грядущего падения деспотизма, мотивы гражданского и нравственного подвига декабристов).

Глубоко созвучен пушкинским раздумьям об искусстве, сближающем народы, образ двух певцов, двух скал, разделенных стремниной, но склонившихся «к вершине дружеской вершиной».

Между автором III части «Дзядов» и «Отрывка» и, с другой стороны, Пушкиным и вообще русской поэзией декабризма была определенная общность и близость художественной символики (наводнение, использование образов из жизни и искусства древней Греции и древнего Рима, обращение к аллегорическому образу всадника на коне и т. д.), объясняемые больше тем, что, как писал В. В. Виноградов, «литературная атмосфера

первой трети XIX века была насыщена одними и теми же крылатыми образами и фразами... при всем различии как в характере и степени литературного таланта, так и в формах стилистического выражения...»

В русском и польском литературоведении уже давно начали выдвигаться различно подчас разрешаемые вопросы несомненных сложных связей и взаимодействий между Мицкевичем, автором «Отрывка», и Пушкиным, создателем поэмы «Медный всадник».

У истоков литературоведческого изучения связей «Памятника Петру Великому» Мицкевича и «Медного всадника» Пушкина стояла, конечно, статья П. А. Вяземского «Мицкевич о Пушкине». В этой статье Вяземский между прочим писал: «В тех же прибавлениях (то есть в «Отрывке». — А. К.) находим стихотворение Мицкевича, вроде думы перед памятником Петра Великого. Поэт говорит: «Однажды вечером два юноши укрылись от дождя, рука в руку, под одним плащом. Один из них был паломник, пришедший с Запада, другой — поэт русского народа, славный песнями своими на Севере. Знали они друг друга с недавнего времени, но знали коротко, и было уже несколько дней, что они были друзьями. Их души, возносясь над всеми земными препятствиями, походили на две Альпийские скалы-близнецы, которые, хотя силою потока и разделены навеки, но преклоняются друг к другу своими смелыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны. Очевидно, тут речь идет о Мицкевиче и Пушкине. Далее поэт приписывает Пушкину слова, которых он, без сомнения, не говорил, но это поэтическая и политическая вольность: ни удивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя. Впрочем, заметка, что конь под Петром более встал на дыбы, нежели скачет вперед, принадлежит не Мицкевичу и не Пушкину».

Общий друг двух великих поэтов славянства, Вяземский сообщал также по поводу стиха из «Медного всадника» «Россию вздернул на дыбы»: «Мое выражение, сказанное Мицкевичу и Пушкину, когда мы проходили мимо памятника: я сказал, что этот памятник символический: Петр скорее поднял Россию на дыбы, чем погнал ее вперед».

Обращаясь к П. Вяземскому как к некоему «истоку» литературоведческих исследований вопроса о соотношении «Отрывка» Мицкевича и «Медного всадника» Пушкина,

мы готовы повторить, что у Мицкевича в «Отрывке» было не только близкое и созвучное Пушкину. Было и такое, чего никак не мог принять и не принял автор «Медного всадника».

Мы не разделяем тенденции, содержащейся в некоторых исследованиях, которая стремится максимально, чрезмерно сблизить содержание «Отрывка» и поэмы «Медный всадник», заметно преуменьшая тем самым скрытую пушкинскую полемику.

В особенностях пушкинской полемики очень своеобразно проявились как определенность отличного взгляда, так и глубокое уважение, искренняя симпатия и благородная деликатность русского поэта по отношению к Мицкевичу, в стихи перелившему после подавления польского восстания свои гнев и боль.

Образ «русской вольности певца», с которым, укрывшись под одним плащом, стоял пришелец, гонимый царским произволом — образ, конечно, обобщенно-поэтический, как и тот, прикрывший их плащ, — обозначавший не столько жизненную подробность, сколько символизировавший высокое и мятежное братство душ.

И все-таки был прав Вяземский, утверждая, что в образе русского певца всегда и всеми узнавался Пушкин и что последний не мог говорить тех слов о Петре I, которые ему Мицкевич в «Памятнике Петру Великому» приписал. То была лишь «поэтическая и политическая вольность» польского поэта. Для автора «Полтавы» и «Арапа Петра Великого» Петр Первый и памятник ему никогда не представлялись «Венчанным кнудержателем в римской тоге», во всем униженно противопоставленным цезарю-мудрецу Марку Аврелию, чье бессмертие в благородной памяти народов хранит памятник последнему в Риме, как поэтизировал такую контрастность Адам Мицкевич:

...И вот он с миром едет в Капитолий
Сулят народам счастье и покой
Его глаза. В них мысли вдохновенье.
Величественно поднятой рукой
Всем гражданам он шлет благословенье.
Другой рукой узду он натянул,
И конь ему покорен своенравный...

Царь Петр коня не укротил уздой.
Во весь опор летит скакун литой,

Топча людей, куда-то буйно рвется,
Сметает все, не зная где предел.
Одним прыжком на край скалы взлетел,
Вот-вот он рухнет вниз и разобьется...

(А. Мицкевич. „Памятник Петру Великому“)

Если Мицкевичу, автору «Отрывка», деятельность Петра I и ее роль в истории России представлялась лишь «водопадом тирании», то Пушкин еще за пять лет до создания «Медного всадника» думал о Петре I как «великом человеке... действовавшем на судьбу великого народа...».

Автор «Медного всадника» не мог принять и не принимал частного и односторонне отрицательного отношения к делам Петра Великого, к судьбам русской государственности, но он же поэтически признал и глубоко гуманистически откликнулся на то человеческое страдание, которое стояло за такой односторонностью и повсюду выражалось в ней. В таких особенностях поэмы таился, в частности, ответ Пушкина и на трагедию польского восстания 1830—1831 годов, во многом обусловившую настроение Мицкевича, тяжело переживавшего «последние судороги своего отечества».

Понимая, что многие образы русской темы в эпическом приложении к III части «Дзядов» были выражением «плача» польского поэта, и осознанно, возможно, допуская некое сближение мицкевичевского плача с образом Евгения из «Медного всадника», Пушкин в особом примечании подчеркивал «яркие краски» «прекрасных стихов» Мицкевича. Автор «Медного всадника», глубоко уважая Мицкевича и причины его «плача», его горьких упреков, не позволил себе в примечаниях к своей поэме сделать ни одного возражения, касавшегося его, Пушкина. Поэт разрешил себе возразить Мицкевичу лишь в вопросах, касавшихся России, русского народа. И он это сделал в форме предельно деликатной и уважительной.

В примечании третьем к поэме «Медный всадник» Пушкин написал: «Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший Петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что писание его неточно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

Давно признан обобщенно-символический смысл картин смотра войска, петербургского наводнения, нарисованных Мицкевичем. Несомненно, что это же прекрасно и раньше всех в России понял Пушкин, и потому он возражающе заметил по поводу произведения Мицкевича: «Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее...»

Слова Пушкина имели чрезвычайно глубокий переносный смысл. Они меньше всего были связаны с уточнением подробностей и климатических особенностей 1824 года. Слова Пушкина, без сомнения, были связаны с традиционно-устойчивым значением слов и образов льда, снега, холода и т. д., широко известных в европейской и русской литературе, как определенная символика неподвижности, реакции, внутреннего омертвения.

Поэтический выразитель освободительного движения своей эпохи, певец декабризма, высоких и «прекрасных порывов» русской души, Пушкин в своем примечании с благородной сдержанностью возразил Мицкевичу, автору «Отрывка», видевшего Россию, русский народ лишь рабски покорными царизму, подобно тому офицерскому денщику, который замерз, держа в руках господскую шубу.

Поэтической историей Евгения в поэме «Медный всадник» Пушкин своеобразно продолжил и развил мицкевичевский взгляд на роль Петра I и дел его, но при этом в уважительной и благородной полемике Пушкин оспорил суженность идейно-художественных представлений великого польского поэта о силах, возможностях и перспективах, таившихся в судьбах России, русского народа.

Пушкинский ответ Итак, кроме моментов общих, «согласных», в содержании «Отрывка» из III части «Дядюв» и «Петербургской повести» было много различного, полемического, вызывающего и ответного. Развивая эту мысль, мы сознавали, что наши возражения некоторым современным исследователям, видящим в названных произведениях лишь «единомыслие» и согласие, примыкают и продолжают одну из важнейших традиций в русской и польской пушкиниане и мицкевичиане. В осмыслении «элементов вызывающего

и ответного» в содержании произведений Мицкевича и Пушкина необходимо глубже и пристальнее всмотреться в тему и образ «русского певца» в «Отрывке» из III части «Дзядов», то есть в «Памятнике Петру Великому», и того бывшего русского друга, кто «деспота воспел подкупленным пером» в послании «Русским друзьям».

Можно и надо не соглашаться, например, с польским профессором Юзефом Третьяком и русским поэтом Валерием Брюсовым, с их истолкованиями содержания и смысла пушкинского «Ответа», но эти литературоведы были глубоко правы, когда они настаивали на полемичности «Медного всадника» и на том, что «Отрывок» из III части «Дзядов» содержал вызов Пушкину.

С нашей точки зрения, М. Живов ненужно выпрямлял, ненужно «улучшал» и ненужно «упрощал» Мицкевича, когда писал: «Совершенно не основательно утверждение некоторых польских литераторов, будто Мицкевич относил к Пушкину гневные слова стихотворения «К русским друзьям», клеймившие тех, кто предал идеалы свободы за царскую милость. Рядом с этим поэтическим посланием Мицкевич опубликовал стихотворение «Памятник Петру Великому», в котором увековечил свою дружбу с русским поэтом и общность взглядов, сблизившую их». Такая точка зрения мнимо доказательна, потому что как раз соседство в «Отрывке» «Памятника Петру Великому», в котором, действительно, увековечена дружба Мицкевича и Пушкина, с поэтическим посланием «Русским друзьям», содержащим гневный выпад в адрес прямо неназванного русского поэта, который стал совсем другим, выражало именно упрек и вызов Пушкину.

Словом, нам более верными представляются те мнения, в которых, во-первых, отмечается определенный вызов Пушкину, таившийся в содержании стихотворения «Памятник Петру Великому»; во-вторых, не отрицается в содержании послания «Русским друзьям» горький упрек, обращенный, в частности, к Пушкину; в-третьих, где поэтический «ответ» Пушкина автору «Отрывка» осмысливается широко как целый ряд произведений, образов, мотивов. Адам Мицкевич прекрасно знал, что Пушкин, создатель образа Петра I, в поэме «Полтава», не мог думать и говорить о Петре так, как он (Мицкевич) заставил думать и сказать в своем про-

изведении русского поэта. Содержание пушкинской поэмы автор «Дзядов» знал еще тогда, когда Пушкин в 1828 году в гостинице Демуа «объяснял Мицкевичу план своей еще не изданной тогда «Полтавы» (которая первоначально называлась «Мазепа») и с каким жаром, с каким желанием передать ему свои идеи...» Поэтому «поэтическая и политическая вольность» Мицкевича, приписавшего Пушкину то, что последний не мог говорить и не говорил, уже сама по себе содержала определенный вызов. И все, что выше было сказано о полемичности «Медного всадника», составило определенную часть пушкинского ответа Адаму Мицкевичу, автору III части «Дзядов». Однако этим далеко не исчерпывается сложность «мицкевичевского вызова» и «пушкинского ответа».

В 1833 году Пушкин, «продолжая» свой ответ на упрек-подозрение в том, что некоторые из русских переменились, стали радоваться мукам своих бывших польских друзей и продажным языком славить царя, создает два поэтических перевода из Мицкевича, вводит в текст повести «Дубровский» известную реминисценцию из «Конрада Валленрода» и пишет повесть «Египетские ночи», в которой образ поэта-импровизатора прозрачно напоминает прекрасный дар Адама Мицкевича. Полемика с Мицкевичем, таившаяся в содержании и примечаниях поэмы «Медный всадник», не только не снизила, а, пожалуй, даже повысила интерес и внимание Пушкина к художественному гению польского поэта.

Вторая часть послания Мицкевича «Русским друзьям» в подлиннике звучит более резко и гневно-упрекающе, чем в некоторых русских поэтических переводах.

Мицкевич, написавший такие стихи, и С. А. Соболевский, привезший в июле 1833 года из Парижа четырехтомник произведений польского поэта и сделавший на четвертом томе многозначительную надпись: «А. С. Пушкину за прилежание, успехи и благонравие», хотели, чтобы Пушкин и на свой счет принял горькие и обличительные строки. В них Мицкевич упрекающе говорил о том, что после царской расправы над Рылевым и Бестужевым иных, может быть, постигла более суровая небесная кара:

Может, кто-то из вас, опозоренный службой и орденом,
Продал навеки за царскую ласку вольную душу,
И теперь на порогах царских бьет поклоны...
Может, продажным языком славит его триумф
И радуется мученичеству своих друзей,
Может, в моей отчизне окровавился кровью моей
И перед царем, как заслугой, гордится проклятиями...

(Перевод наш — А К)

Лично знакомый с Мицкевичем, упоминавшийся выше Леонард Реттель в предисловии к статье Мицкевича «Александр Пушкин» писал: «Царская ласка, о которой Мицкевич вспоминал в своем некрологе, сильнее спутала и парализовала Пушкина, чем самые тяжелые преследования... Стихотворение Мицкевича «Русским друзьям» наполнило огромнейшей горечью сердца всех русских поэтов. Старый Жуковский, который частично содействовал освобождению Мицкевича из московских рук, оскорбился самым необоснованным образом, посчитал себя обманутым. Как будто Адам что-либо ему обещал, или будто мог быть связанным в своем долге поляка какими-либо частными отношениями дружбы с Жуковским. Такая-связанность была бы даже более тяжелой платой, нежели та участь, которая постигла Пушкина благодаря Николаю. По этой причине Пушкин с глубокой печалью отозвался в стихотворении, в котором не смел не только назвать имени Мицкевича, но не смел даже поставить сверху буквы «М».

Сколько бы некоторые исследователи ни уверяли, что стихотворение Мицкевича не содержало упрека лично Пушкину, но сам Пушкин не без оснований оказался, видимо, более чувствительным и проницательным, когда такой упрек, в частности, ощутил и в свой адрес, и у поэта возникла внутренняя потребность ответить автору стихотворения «Русским друзьям».

Видимо, отчасти и поэтому Пушкин брал с собой в августе 1833 года в путешествие по местам, связанным с Пугачевым, четвертый том упомянутого издания сочинений Мицкевича и лично по-польски переписывал для себя, для своих занятий, кроме стихотворений «Олешкевич» и «Памятник Петру Великому», стихотворение-обращение польского поэта к русским друзьям. Поэта весьма занимал вопрос о содержании и форме ответа. Может быть, он действительно в какой-то момент намеревался переводить переписанные им названные стихо-

творения Мицкевича. Но, главное, он думал о достойном ответе.

Нельзя подобно Л. Реттелю полагать, что Пушкин, не завершив и не опубликовав стихотворения «Он между нами жил...», тем самым ничем при жизни печатно так и не успел ответить автору послания «Русским друзьям». Логичнее было бы предположить иное — ответ Пушкина был очень обдуманым, деликатным, содержательным и очень, если можно так сказать, развернутым и многогранным. Переводом баллад Мицкевича «Будрыс и его сыновья» и «Воевода» Пушкин, кроме всего прочего, своеобразно подтвердил дорогой ему образ, завершавший стихотворение «Сто лет минуло, как тевтон», — стихи о соловьях, которые не знали вражды, слетались «друг к другу в гости».

Вместе с тем Пушкин знакомил русского читателя с той стороной литературно-художественного гения польского поэта, которую он высоко ценил и которая была ему, автору «Руслана и Людмилы», «Русалки» и «Сказок», внутренне близка — тяготение к формам и мотивам народно-поэтического творчества. Высокий художественный уровень ознакомления русского читателя с фольклорно-поэтической струей в творчестве Мицкевича уже делал пушкинские переводы значительным художественным явлением в русско-польских литературных сближениях в 30-е годы XIX века.

Осмысляя «многогранность» пушкинского «Ответа», необходимо подчеркнуть, что его главными «составными» частями было не только то, что Пушкин работал над стихотворением «Он между нами жил...», но и то, что он не опубликовал при жизни этого стихотворения. Вряд ли верным суждением является мнение о том, что Пушкин не опубликовал при жизни стихотворения «Он между нами жил...» просто потому, что не закончил его.

Встает естественный вопрос — почему поэт не спешил закончить и опубликовать это произведение? Вряд ли этот вопрос является легким. Во всяком случае ответ на такой вопрос не может быть однословным без учета конкретной исторической обстановки после польского восстания 1830—1831 годов, без учета положения Адама Мицкевича — политического эмигранта в чужой стране, без учета, наконец, того, что опубликование этого стихотворения обязательно обострило бы (если не со стороны самого Мицкевича, то со стороны его окруже-

ния и поляков вообще) чувства враждебности к русскому обществу, русской литературе. Недаром даже значительно позднее Леонард Реттель, пожалуй, больше всего хотел оспорить стихотворение «Он между нами жил...» и писал, вынужденный все же признать наличие в стихотворении симпатий к польскому поэту-пророку: «Такая уступка со стороны москаля, который никогда в Польше не был и который не мог себе достаточно представить наших страданий, могла бы нас и растрогать, если бы не те несчастные слова «и теперь в угоду черни, которая его слушает, поет ей о ненависти к нам».

В попытках ответить на вопрос — почему Пушкин не спешил закончить и опубликовать стихотворение «Он между нами жил...», нельзя не учитывать и того (сложного и для поэта подчас мучительного и противоречивого) положения, в которое он был коварно поставлен Николаем I.

Трудно согласиться с высказывавшимся в польском литературоведении мнением о том, что стихотворение Пушкина «Он между нами жил...» не являлось ответом на стихотворение Мицкевича «русским друзьям».

Весь смысловой и лексико-фразеологический строй стихотворения «Он между нами жил...» с необходимостью подтверждает, как справедливо еще раз подчеркнул Б. П. Городецкий, что оно было именно ответом на стихотворное обращение Мицкевича к русским друзьям.

Даже в незаконченном виде стихотворение «Он между нами жил...» поражает обилием больших обобщающих мыслей и горячих чувств, свидетельствующих о желании автора ответить польскому поэту как-то широко, без запальчивости, поспешности и личной обиды. В произведении господствует искреннейшая мечта о сближении народов и поэтов. Стихотворение начинается образами-воспоминаниями о былом согласии, любви, глубоком взаимопонимании между «мирным гостем» и «племенем ему чужим» и заканчивается мольбой о возвращении утраченной общности чистых мечтаний и песен. Такие идеи и образы делали стихотворение «Он между нами жил...» неким художественным синтезом ряда характерных мотивов пушкинской лирики.

Если читать это стихотворение именно как ответ Мицкевичу, то сразу же становится очевидным его декабристский характер, многозначительность повторений

форм местоимения «мы». Лирический герой говорит не только от своего имени, подтверждая: «Он между нами жил», «злобы... к нам не питал, и мы его любили», «Он посещал беседы наши», «С ним делились мы и чистыми мечтами и песнями», «Мы жадно слушали поэта». Несомненно, что в этих стихах отобразились приветливость, радушие, глубокое понимание, которые нашел польский поэт в годы своей жизни в России со стороны лучшей части русского общества и русской литературы.

Но нельзя также не заметить, что столь подчеркнутое употребление множественного числа личного местоимения «я» звучит как особое подтверждение истинности стихов Мицкевича, увековечивших дружество и братство польского поэта с декабристами. Но если Мицкевич в стихотворении «Русским друзьям» говорил о том, что его русских друзей после казни декабристов охватил дух раболепия перед царским тронem, то пушкинское явное сгущение местоимений «мы», «наши», «нас» могло быть связанным с самосознанием того, что он (Пушкин) не отделяет своего отношения к Мицкевичу от чувств Рылеева и Бестужева.

Автор стихотворения «Он между нами жил...» говорил как бы от имени всех русских друзей, к которым обращался так польский поэт:

Вы вспоминаете ли обо мне? Я, мечтая часто
О моих друзьях в погибели, в изгнаниях, в тюрьмах,
Мечтаю и о вас; ваши чужеземные лица
имеют право гражданства в моих грезах
Где вы теперь?..

(Перевод нащ.—А. К.)

В особенностях поэтического ответа лирический герой стихотворения «Он между нами жил...» выступал своеобразным продолжателем декабристов, их другом, их витией. Идеал, выраженный как дорогое воспоминание о чистых мечтах и песнях «гостя» (...Нередко

Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся),

поэтизировался как общее чаяние лирического героя и всех былых русских друзей польского поэта («Мы жадно слушали поэта»). В стихотворении «Он между нами жил...» оказывались лаконично синтезированными два

важнейших мотива стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина» — мотив семьи славянских народов и тема обличения той европейской черни, которая стремилась в своих целях использовать и «семейную вражду», и самого Мицкевича, возбужденного названными произведениями.

Неподдельная боль слышится в пушкинских стихах:

...Он
Ушел на запад — и благословеньем
Его мы проводили Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он накаляет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!

Эта боль острее оттого, что лирический герой употребляет живо памятные ему полные негодования слова и сравнения самого Мицкевича, направленные им против русских друзей:

«Теперь выливаю в мир этот бокал яда».

(Перевод гаш.—А. К.)

Сознание того, как это сложно, трудно все объяснить автору гневных упреков, как, может быть, мешает такому объяснению оскорбительный камер-юнкерский наряд и придворное звание, выразилось в пушкинском возгласе:

..боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром.

Так в стихотворении «Он между нами жил...» оказывался по сути дела признанным прекрасный, становившийся символом, мицкевический образ двух поэтов — двух склонявшихся друг к другу поднебесных альпийских вершин, разделенных потоком-неприятелем.

В «состав» «пушкинского ответа» своеобразно вписывается и неоконченная повесть «Египетские ночи».

Повесть «Египетские ночи» как пушкинская поэтизация импровизаторского дара Адама Мицкевича

Восхищенность прекрасным и редким даром поэтических импровизаций, которым обладал Адам Мицкевич, была выражена А. С. Пушкиным не только в прямых искренних высказываниях. В условиях после польского восстания

1830—1831 годов и осложнившихся отношений с великим польским поэтом А. С. Пушкин свое восторженное признание импровизаторского таланта Адама Мицкевича выразил и образно, преображенно, начав работу над повестью «Египетские ночи».

Воспоминания польских и русских друзей и близких Адама Мицкевича о поэтических импровизациях последнего в Петербурге, Москве, Берлине, Риме, Париже единодушно свидетельствуют о том, что и в литературном окружении А. С. Пушкина, русском и иноязычном, не было никого, кто мог бы сравниться с Мицкевичем в мастерстве и силе поэтических импровизаций.

Даже такой большой поэт, как Юлиуш Словацкий, решившийся однажды выступить в многочисленном застолье с поэтической импровизацией, воочию убедился, подобно всем присутствующим, в тщетности попыток подняться до уровня импровизаций Адама Мицкевича. Как вспоминал один из чутких и литературно очень опытных очевидцев. «Словацкий начал напевную импровизацию. Адам аплодировал и усмехался. Потом сорвался, как орел, как древний рыцарь-храмовник, как архангел. Все общество застыло в молчании, затаило дыхание, вперило взоры, а потом многочисленные рыдания, объятия и т. д. Я всегда очень глубоко верил в чрезвычайное могущество этого человека. В этот день он словом своим, вернее, творением своим веру мою упрочил»*.

В повести «Египетские ночи» «линия» Чарский — импровизатор сложно, опосредованно отображает одну из важных граней отношений А. С. Пушкина и Адама Мицкевича. В произведении нет портрета Чарского, есть портрет импровизатора-итальянца. Если сопоставить портрет импровизатора, особенно портретные детали в минуты выступлений, творческого экстаза с воспоминаниями очевидцев, которые были захвачены гениальностью поэтических импровизаций Адама Мицкевича, иногда доходивших до многих сотен стихов (Николай Малиновский, Антоний Эдвард Одынец, П. А. Вяземский, Франтишек Малевский, Войцех Цыбульский, Евстафий Янушевич и др.), то высвечивается несомненная

* Adama Mickieńczyka wspomnienia j myśli. Czytelnik, W—wa, 1958. s. 413.

жизненная модель. Так, например, П. А. Вяземский записал после одной из импровизаций Адама Мицкевича, что поэт на некоторое время замкнулся в своей внутренней святине. Потом как бы очнулся с лицом просветленным огнем вдохновения, и что ни чужой язык, ни прозаическая форма не смогли ни принизить, ни охладить поэтического вдохновения. Жуковский и Пушкин, глубоко взволнованные, были в восторге.

Анна Ахматова была основательна в своем выводе о том, что «Портрет импровизатора у Пушкина во всех подробностях соответствует описанию внешности Мицкевича. К тому же импровизатор вообще редкость, и у нас нет сведений, что Пушкин слышал ког-нибудь, кроме Мицкевича»*.

Все известные импровизации Адама Мицкевича явно тяготели к острой драматичности и трагизму переживаний как самого поэта, так и представляемых высоких характеров, их страстей, конфликтов, нравственных порывов и т. д. Неслучайно поэту А. С. Пушкину вложил в уста импровизатора в «Египетских ночах» тему о свободном от толпы вдохновении поэта** и отдал своему герою давно увлекавший сюжет о Клеопатре и ее любовниках, согласных ценою жизни платить за ночь любви:

Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю.
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою?

Так в 1835 году в создании повести «Египетские ночи» вложенные в уста импровизатора стихотворение «Клеопатра» (1824) и фрагмент из неоконченной поэмы «Езерский» (1832) воссоздали в некоторой мере памятный А. С. Пушкину высокий драматическо-трагический колорит несравненных поэтических импровизаций Адама Мицкевича.

Развитие «темы Мицкевича» в творчестве Пушкина, полной благородной сдержанности, глубокого уважения и искренней симпатии, послужило, несмотря на все трудности и препятствия, укреплению связей, взаимопонимания между русской и польской литературами.

* Ахматова А. Тайны ремесла. М., 1986. С. 76.

** Фрагмент из поэмы «Езерский».

В какой-то мере даже сбылась мечта Пушкина («боже! освяти в нем сердце правдою твоей и миром»). В 1837 году Адам Мицкевич в известном некрологе на смерть великого русского поэта, подписанном словами «Друг Пушкина», признал, что русский поэт «изумлял своих слушателей живостью, тонкостью и пронизательностью своего ума» и имел характер «всегда искренний, благородный и откровенный».

Разные поляки по-разному отнеслись и переживали трагическую гибель А. С. Пушкина. Польша консервативная и аристократическая, пожалуй, наибольший интерес проявляла к подробностям дуэли и к тому, как царь и высшее общество Петербурга отнеслись к ее последствиям. О том, как смерть Пушкина была принята и как она комментировалась в польских аристократических кругах, ультраояльных в отношении к царизму, хорошо свидетельствуют письма польского графа и отчасти литератора Томаша Лубенского к своему отцу.

21 февраля 1837 года Томаш Лубенский так писал из Варшавы: «Печальный случай обеспокоил весь Петербург. Известный русский поэт Пушкин женился на молодой прекраснейшей особе. Некий француз по фамилии Дантес, которого усыновил голландский посол барон Хенкерен, завещав ему все свое состояние, — стал за ней ухаживать. Ревнивый муж, видя частые визиты подозрительного ему француза, бывшего на русской военной службе, стал так за ним следить, что француз во избежание глубокого ошибочного подозрения просил руки сестры госпожи Пушкиной и, хотя последняя была далеко и не прекрасна и не богата, женился на ней. Однако злословные анонимные письма не только не перестали нагнетать ревность Пушкина, а наоборот, довели его до такой степени запальчивости, что он вызвал молодого Дантеса на поединок. Несмотря на все средства, которые последний использовал, чтобы успокоить Пушкина и избежать дуэли, столь угрожавшей их женам, он все же вынудил Дантеса драться на пистолетах. Первый выстрел Дантеса прострелил Пушкина навылет. Он имел достаточно сил, чтобы подняться стрелять в Дантеса и ранить, но менее опасно. Сам же написавши несколько слов царю, поручая ему жену, детей и прося прощения для секунданта, что ему ласково обещал монарх, скончался...»

Спустя два дня тот же автор и в тот же адрес сообщил:

«Смерть Пушкина произвела в Петербурге огромное впечатление, особенно на бедное мещанство и средний класс жителей, так как, кроме того, что Пушкин является одним из первых поэтов, он считался одним из самых горячих русских патриотов. В течение нескольких дней все паломники шли к его телу, никогда не видели столько людей, как на его погребении... Дантес отдан под суд. Царь передал ему благодарность за то, что не скомпрометировал ни одного офицера своего полка, взяв себе в секунданты чужеземца из французского посольства. Какой бы приговор для него ни был, ему не жить в Петербурге, и в России не остаться, так как наверняка будет забитым разгоряченным демосом, до которого никакая разумность, наверное, не дойдет...»

2 марта 1837 года в следующем письме к отцу граф Лубенский, более всего занятый судьбой убийцы Пушкина, сообщал: «По известиям, полученным мной из Петербурга, офицер, который убил Пушкина и который был отдан военному суду, приговорен к разжалованию в рядовые, однако есть надежда, что царь его помилует...» (Все переведено нами. — А. К.).

Если некоторые круги консервативной и аристократической Польши с большим интересом и даже сочувствием следили за судьбой Дантеса, то другая Польша, Польша демократическая, устами своего народного поэта Адама Мицкевича говорила, что пуля, которая сразила Пушкина, нанесла страшный удар всей России. В некрологе на смерть Пушкина Мицкевич как друг Пушкина утверждал и свидетельствовал, что Пушкин своим творчеством «создал себе много врагов. Они мстили ему клеветой».

Передовое общественное мнение, русское и польское, оценило искренность и глубину дружеских чувств Адама Мицкевича, высказанных им в связи со смертью великого русского поэта, и окружило имя Мицкевича легендарным ореолом пушкинского заступника. В 1842 году польский поэт Леон Янишевский, издавая свой перевод поэмы Пушкина «Цыганы», в предисловии написал:

«Истекает четвертый год с того времени, как великий поэт Пушкин сошел в могилу. Печальная кончина постигла пророка в пору наивысшего расцвета его ду-

ховных сил, когда он был полон надежд, любви и его окружала слава. Это было тяжелым ударом для всего народа, и народ искренним горем почтил своего любимого поэта. Не совсем чужой была эта потеря и для нас. Общая молва, называя автора «Гражины» мстителем за безвременную смерть Пушкина, тем выразила глубокую к нему симпатию, гарантией которой должна быть и дружба бардов двух славянских племен... Пушкин коснулся всех струн той волшебной лютни, эхом которой есть сердце народа. Все таинственные голоса, которые по воле пророка волнуют души, звучали в его песнях. Его влияние на общество было безмерным. Его власть над обществом равна владычеству другого пророка славянства, нашего сородича и друга Пушкина». И чуть ниже Янишевский свидетельствовал, что в «Польше из уст в уста имя Пушкина передается с общей любовью, хотя его произведений издано еще мало». (Переведено нами. — А. К.).

Таков первый из известных нам польских источников, в котором отразилась распространившаяся в обществе молва о том, что Адам Мицкевич вызвал на дуэль Дантеса. Русские известные нам сведения о том же слухе относятся к более раннему периоду. Например, письмо А. И. Тургенева к А. Я. Булгакову от 20 марта 1837 года.

Другой современник А. А. Елагин сообщал своей матери, что Катерина Афанасьевна Протасова «привезла из Петербурга вот какую новость: Дантесу велено выехать из России. Мицкевич прислал ему картель и писал, что считает себя обязанным драться с убийцею Пушкина, его первого друга, что, если он не трус, то явится к нему в Париж. Перед глазами всей Европы нельзя ему было никаким образом отказаться от дуэли».

Все известные русские и польские отзвуки легендарного слуха, видимо, имевшего широкое распространение, были одним из выражений чаяний передовых русских и польских кругов, чтобы имена Пушкина и Мицкевича вечно и дружески стояли рядом.





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Идейно-художественное содержание проблемы Пушкин и Польша позволяет выделить по крайней мере четыре ярко выраженные принципиальнейшие особенности пушкинского отношения к польской теме:

1. Всегда глубоко сознавая исторически обусловленную сложность русско-польских государственных, общественных и культурных отношений, Пушкин верил в возможность дружеско-братских сближений русских и поляков как народов славянского единства и придавал исключительно большое значение поэзии и вообще искусству как великой силе, способной соединить народы и художников. По всей вероятности, именно эта идея играла значительную роль в интересе А. С. Пушкина к трудам и произведениям Яна Потоцкого, а также к работам исследователя славянской и польской старины и фольклора Зориана Доленги Ходаковского, имя которого Пушкин даже ввел однажды в перифраз, относимый к себе:

Но каюсь: новый Ходаковский,
Люблю от бабушки московской
Я слушать толки о родне
Об отдаленной старине...

В последние месяцы жизни Пушкин написал стихотворение «Альфонс садится на коня». Это стихотворение действительно* представляет собой законченную поэтическую обработку мотивов знаменитого романа Яна Потоцкого «Рукопись, найденная в Сарагосе». Вклад польского писателя в историю мирового романа

* Ян Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе. М.: Наука, 1968. С. 571—595.

был эстетически замечен и высоко оценен А. С. Пушкиным.

Изучение соотношения между романом «Рукопись, найденная в Сарагосе» и стихотворением «Альфонс садится на коня» А. С. Пушкина приводит к выводу, что в этом стихотворении окончательно утвердилась особая жанровая форма — форма очень конденсированной «трансформации» большого и сложного иноязычного произведения в произведение малого объема с ярко выраженным функциональным значением ритмико-рифмических средств.

Герой Яна Потоцкого отважно странствует шестьдесят шесть дней, каждый из которых представляет особую главу, в которой новый авантюрно-приключенческий рассказ и новые препятствия на пути Альфонса ван Вордена. Бесстрашного странника преследуют нечистые силы, он часто просыпается под виселицей двух братьев Зото. Два висельника оживают и возникают на пути странствующего Альфонса в самых причудливых обличьях. Несмотря на обилие искушений и препятствий, главный герой бесстрашно неудержим. Недаром учителя фехтования он имел еще до своего рождения, а на третьем году жизни «уже ловко владел маленьким эспадроном, на шестом — стрелял из пистолета, не жмурсь». Словом, очень большое авантюрно-приключенческое произведение, имеющее причудливую волшебнo-фантастическую образность, плотно сжимается А. С. Пушкиным в балладно-приключенческий сюжет, который четко воссоздает характер главного героя, препятствия в его странствовании и лейтмотивную ситуацию*.

* Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайте меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть — покой вам нужен,
А к стойлу тянется ваш конь».
— Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь, —
Тот отвечает: — Неприлично
Бояться мне чего-нибудь.

2. Другой крупнейший философско-исторической особенностью пушкинского отношения к Польше и польскому вопросу было убеждение в том, что область русско-польских отношений, как и само историческое бытие польского и русского народа, есть органическая часть истории Европы и европейской цивилизации. Идея единства славянских народов и их значения в судьбах Европы, которую блестяще развивал Адам Мицкевич в своих лекциях о славянских литературах в Лозанне и Париже, во многом шла от Пушкина, или, во всяком случае, поэты были едины в этом. К тому же сам Мицкевич писал, что такую идею он выработал в себе, живя в разных славянских странах. Имея в виду и свое пятилетнее пребывание в России (1824—1829), свои дружеские связи с лучшими представителями русского общества, Мицкевич замечал: «Продолжительное пребывание в различных славянских странах, сочувствие, которое я там встретил, сохранившиеся воспоминания дали мне возможность почувствовать единство славянских народов в большей мере, чем это могло бы мне дать их изучение и теоретические рассуждения».

Как и Пушкин, Мицкевич резко отрицательно относился к тем историческим концепциям, предрассудкам, пережиткам и невежеству, которые стремились исключить славянские народы из границ европейской цивилизации: «Европейский дух как бы держит славянство в некотором отдалении и выключает из христианского общества. Что же, разве славяне не внесли свой самостоятельный вклад в культуру? В самом деле, разве они не обладают своеобразными элементами цивилизации? Разве они ничем не обогатили сокровищницу духовных богатств и моральных благ христианства? Самый вопрос этот кажется им оскорбительным». (Мицкевич А. Собр. соч. в 5 томах. Т. 4. М., 1954. С. 127—128).

3. Трагедия «Борис Годунов» и особенно антибонапартистская лирическая «трилогия» А. С. Пушкина сформировали крупную художественную мысль о пагубности и враждебности третьего западноевропейского

Я дворянин — ни чорт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я.
И дон Альфонсо коню дал шпоры...

вмешательства в русско-польские отношения, противоречия и конфликты, в семейный спор славян. Эта пушкинская мысль была связана, соприкасалась с идеологией декабризма, которая в лице, например, декабриста М. С. Лунина, выступавшего в связи с польским восстанием 1830—1831 годов как против русского царского правительства, так и против западноевропейских правительств — «мнимых друзей Польши», утверждала устами того же М. С. Лунина, что у поляков «надежды на помощь западных держав будут всегда несбыточны: что их единственный шанс на успех заключается в тесном союзе с русскими». (Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. Т. III. М., Госполитиздат, 1951. С. 168—182).

Пушкинско-декабристская идея о пагубности третьего западноевропейского вмешательства в русско-польские отношения и конфликты уже в 30-е годы XIX века стала противостоять поэтизации участия польских легионов генерала Г. Домбровского и князя Ю. Понятовского во французском нашествии Наполеона в Россию в 1812 году, той поэтизации, которой отмечена была поэма Адама Мицкевича «Пан Тадеуш».

4. Вообще огромная художественно-нравственная сфера мыслей и чувств, тем и образов, относящаяся к личным и творческим связям и взаимодействиям гениальных поэтов славянства Пушкина и Мицкевича, приобрела значение символическое, стало великой традицией, высоким примером доброжелательства и проницательности, примером самобытности, великодушия и деликатности в споре и полемике, примером настойчивого стремления русской поэзии к согласию с польским братом в семье славянского единства.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ПОЛЬСКАЯ ТЕМА В ТВОРЧЕСТВЕ А. С. ПУШКИНА В 20-е ГОДЫ (До польского восстания 1830—1831 годов)	16
А. С. ПУШКИН И ПОЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ 1830—1831 ГОДОВ	70
А. С. ПУШКИН И АДАМ МИЦКЕВИЧ	90
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	124

Анатолий Васильевич Кушаков

ПУШКИН И ПОЛЬША

Редактор А. П. Олейникова
Художественный редактор Н. В. Акиншин
Технический редактор М. Л. Афанасьева
Корректор М. Л. Соколова

ИБ № 1857

Сдано в набор 08.09.89. Подписано в печать 4.01.90. ЦП 00501.
Формат бум. 84×108¹/₃₂. Типографская № 2. Литературная
гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 6,72. Усл. кр.-отт. 7,04.
Уч.-изд. л. 7,01. Тираж 10 000 экз. Заказ № 3628. Изд. № 178.
Цена 30 к. Приокское книжное издательство, 300000, г. Тула,
Красноармейский пр., д. 27. ППО «Полиграфист», г. Орел,
ул. Ленина, 1.